

МАРХ СЕРГЕЕВ

ПОДВИГ ЛЮБВИ
БЕСКОРЫСТНОЙ



**О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше,
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.**

**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975**

Екатерина ТРУБЕЦКАЯ
Мария ВОЛКОНСКАЯ
Александра МУРАВЬЕВА
Наталья ФОНВИЗИНА
Полина АННЕНКОВА

М А Р К С Е Р Г Е Е В

ПОДВИГ ЛЮБВИ БЕСКОРЫСТНОЙ

● РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ●

● РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ●

● РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ●

● РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ ●

9(c) 15
c32



© Издательство «Молодая гвардия», 1975 г.

С $\frac{70803-191}{078(02)-75}$ 62-75

150 лет отделяют нас от сурового студеного дня, когда лучшие сыны России вышли на Сенатскую площадь, чтобы ценою жизни своей разбудить крепостную Россию.

В ледяные глубины Сибири, в страну бичей, рабов и пут, вслед за «государственными преступниками» отправились их жены, и это было не только подвигом любви, это был акт протеста против николаевского режима, это была демонстрация сочувствия идеям декабристов.

Книга «Подвиг любви бескорыстной» посвящена этим русским женщинам.

«Дело их не пропало», — писал В. И. Ленин о дскабристах.

Их подвиг живет в сердце каждого, кому дорога наша отечественная история, их борьбу продолжили разночинцы, а затем большевики, люди, приведшие Россию к победе социалистической революции.

**НЕ НАЙДЕМ ЛИ МЫ В ЭТИХ ЖЕНЩИ-
НАХ ТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ, ЧТО ПОРА-
ЖАЛО И ВОСХИЩАЛО ИХ СОВРЕМЕННО-
КОВ, И НЕ ПРИЗНАЕМ ЛИ МЫ В НИХ
ПРЕДТЕЧЕЙ, СВЕТОЧЕЙ, ОЗАРЯЮЩИХ
ДАЛЬ НАШЕГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ...**

Вера ФИГНЕР



Екатерина Ивановна ТРУБЕЦКАЯ

Слава и краса вашего пола! Слава страны, вас произрастившей! Слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности, таких чудных, идеальных жен! Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости, при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут *незабвенны имена ваши!*

Декабрист А. П. Беляев

...Из давней тьмы выступает вечер 14 января 1827 года. Роковое четырнадцатое число. Месяц назад мысленно отметила она годовщину возмущения на Сенатской площади, возмущения, так преломившего судьбы близких ей людей, и Сергея судьбу, и ее...

Четвертый месяц уже живет она в чиновничьем этом городе, столице восточносибирской, которая могла бы показаться даже милой и приветливой при других обстоятельствах, но не сейчас... Сейчас круг за кругом, точно спирали Дантова ада, идет нравственная пытка. Сперва ее предупредили, что «...жены сих преступников, сосланных в каторжные работы, следуя за своими мужьями и продолжая супружескую связь, естественно сделаются причастными их судьбе и потеряют прежнее звание, то есть будут уже признаны не иначе, как жены ссыльнокаторжных, дети которых, прижитые в Сибири, поступят в казенные поселения...». Вот как! Одним пунктом официального предписания убиты и матери и дети!

«Ах, милостивый государь, Иван Богданович Цейдлер! Вам ли, несущему власть губернатора в краю каторги, не знать русских женщин. Я и не рассчитывала на другую судьбу. Хотя, по чести сказать, это жестоко. Это омерзительно и жестоко: император, который мстит женщинам и детям...»

Странно, но, когда ей зачитывали «отречения», она слышала как бы два голоса, говорящих противоестественным жутким дуэтом. Да, это был голос Цейдлера, но словно бы говорил не он, а тот, другой, из Петербурга, из Зимнего дворца... Какое лицемерие, какое иезуитство: разрешить всемилостиво отправиться в Сибирь, обнадежить, дать поверить в благородство и вдруг после тысяч таежных верст задержать, поставить условия одно страшнее другого, условия, о которых можно было сказать еще там, в начале пути...

И вот он, этот вечер 14 января.

Земля притихла. Идет медленный снег. Угомонилась наконец и стала Ангара. Еще неделю назад — и это зимой! — она поднялась на три с половиной



аршина, вышла из берегов, затопила улицы Иркутска и все дымилась, все туманилась, застывая.

Княгиня пишет письмо. Тень от гусяного пера странно ломается на стыке стены с потолком. Вместе со снегом пришло неожиданное успокоение, какого не знала она с того дня, как арестовали князя Сергея Петровича. Может быть, это не спокойствие, а предчувствие?..

«Милостивый государь Иван Богданович!

Уже известно Вашему превосходительству желание мое разделить участь несчастного моего мужа, но, заметив, что Ваше превосходительство все старания употребляли на то, чтобы отвлечь меня от такого моего намерения, нужным считаю письменно изложить Вам причины, препятствующие мне согласиться с Вашим мнением.

Со времени отправления мужа моего в Нерчинские рудники я прожила здесь три месяца в ожидании покрытия моря. Чувство любви к Другу...»

Она написала слово это — «Другу» — с прописной буквы, подчеркнув этим и бесконечное уважение к мужу, и веру в праведность его дела, и надежду на встречу с ним. В ней и в самом деле поднималось и росло ощущение, что вот сейчас, в тесной неуютной комнатке, при оплывшей свече, заканчиваются все ее мучения.

«...Чувство любви к Другу заставило меня с величайшим нетерпением желать соединиться с ним; но со всем тем я старалась хладнокровно рассмотреть свое положение и рассуждала сама с собою о том, что мне предстояло выбирать. Оставляя мужа, которым я пять лет была счастлива, возвратиться в Россию и жить там во всяком внешнем удовольствии, но с убитой душой, или из любви к нему, отказавшись от всех благ мира с чистой и спокойной совестью, добровольно

предать себя унижению, бедности и всем неисчислимым трудностям горестного его положения в надежде, что, разделяя все его страдания, могу иногда с любовью своею хоть мало скорбь его облегчить? Строго испытав себя и удостоверившись, что силы мои душевные и телесные никак бы не позволили мне избрать первое, а ко второму сердце сильно влечет меня...»

Ровный, покойный свет свечи затрепетал вдруг, огонек заметался, забегал, словно рыжим мотыльком решил слететь с черной ниточки фитиля... Снег уже улегся было, но пришел ветер, закрутил белые спирали. Они ввинчивались в воздух — все выше, выше... Свеча оплывала, из комнаты уходило тепло, стало зябко. Трубецкая накинула на плечи шаль, сняла нагар — огонек загустел. Она подумала, что все это очень похоже на ее жизнь.

Разве не свеча жизнь человеческая? Чистая, стройная, она ждет часа своего, с трудом загорается... потом пылает, трепещет, становится короче... Уже нет стройности, но есть другая красота — пышность украшений, застывший узор капель и струек... Потом все опадет, растает, и останется черный, неприютный уголек, тихий и покойный, как могильный камень.

Она отогнала грустные размышления и, чтобы вернуть твердость и мыслям и руке, стала вспоминать другие свечи — они тоже трепетали, и пламя на них металось, когда священник, венчая их с князем Сергеем Петровичем, напутствовал их святой молитвой...

Что-то в этом воспоминании остановило ее, что-то очень важное. Воспоминания отступили, мысль прояснилась... Довод! Вот он, довод, точный довод, против которого не найдут возражений, уловок ни господин

генерал Цейдлер, ни тот, чьими незримыми устами глаголет губернатор иркутский. Вот оно:

«Но если б чувства мои к мужу не были таковы, есть причины еще важнее, которые принудили бы меня решиться на сие. Церковь наша почитает брак таинством, и союз брачный ничто не сильно разорвать. Жена должна делить участь своего мужа всегда и в счастии и в несчастьи, и никакое обстоятельство не может служить ей поводом к неисполнению священной для нее обязанности. Страданье приучает думать о смерти: часто и живо представляется глазам моим тот час, когда, освободясь от здешней жизни, предстану пред великим судьей мира и должна буду отвечать ему в делах своих, когда увижу, каким венцом спаситель воздаст за претерпенное на земле, именно его ради, и вместе весь ужас положения несчастных душ, променявших царствие небесное на проходящий блеск и суетные радости земного мира. Размышления сии приводят меня в еще большее желание исполнить свое намерение, ибо, вспомнив, что лишение законами всего, чем свет дорожит, есть великое наказание, весьма трудное переносить, но в то же время мысль о вечных благах будущей жизни делает добровольное от всего того отрицанье жертвою сердцу приятною и легкою».

Теперь осталось завершить письмо: несколько любезных слов, уверенность в благородстве, надежда на исполнение просьбы, *et cetera, et cetera...*

«Объяснив Вашему превосходительству причины, побуждающие меня пребывать непреклонно в своем намерении, остается мне только просить Ваше превосходительство о скорейшем направлении меня, исполнив вам предписанное. Надежда скоро быть вместе с мужем заставляет меня питать живейшую благодарность к государю императору, облегчившему горе не-

счастливого моего Друга, позволив ему иметь отраду в жене...»

Так!

«За сим поблагодарив Ваше превосходительство за доброе расположение, Вами мне оказанное в бытность мою в Иркутске, и даже за старанья, Вами прилагаемые к удержанию меня от исполнения желания моего...»

Так!

«...от исполнения желания моего, ибо чувствую, что сие происходило из участия ко мне, прошу, Ваше превосходительство, принять уверенья в искренней и совершенной моей к Вам преданности, и остаюсь готовая к услугам Вашим

Княгиня Катерина Трубецкая».

Через две недели, 29 января 1827 года, генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский получил донесение от иркутского губернатора Цейдлера: *

«Секретно.

Я имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что жена государственного преступника Трубецкого находится в Иркутске и по получении извещения, что преступники через Байкал переправлены, я ей, согласно Вашему предназначению, делал внушения и убеждения не отваживаться на такое трудное состояние, но она... в начале сего месяца прислала письмо ко мне, которое при сем в оригинале честь имею представить. По получении письма я ей сделал письменный отзыв с прописанием всех тех пунктов, которые к женам преступников относятся...

Выдав Трубецкой прогоны, разрешил выезд ее, и

* Восточная Сибирь, во главе которой стоял генерал-губернатор, делилась на несколько областей, каждая из них управлялась губернатором.

она отправилась за Байкал сего 20 генваря с прислугою из вольнонаемного человека и девушки... Гражданский губернатор Иван Цейдлер».

Лед на Байкале крепок и прозрачен. Нежно-голубые хрустальные глыбины светятся изнутри. Они громоздятся у берега, точно последняя грань между тем, что покидает она, и тем, к чему спешит. Какая холодная грань! Какая чистая грань!

Г о л о с ц а р я: Жены сих преступников... потеряют прежнее звание... дети, прижитые в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне...

Т р у б е ц к а я: Согласна!

Г о л о с ц а р я: Ни денежных сумм, ни вещей многоценных взять им с собой... дозволено быть не может...

Т р у б е ц к а я: Согласна!

Г о л о с ц а р я: Ежели люди, преступники уголовные, коих за Байкалом множество, жуткие люди, погрязшие в пороках, надругаются над вами или же — не дай бог! — убьют, власти за то ответственности не несут...

Т р у б е ц к а я: Согласна!

Царь умолкает. Она ступает на лед. Лошади закуржавели, копытят снег. Она садится в сани, ямщик закрывает полог, лошади делают первые неловкие шаги. Ничего, они еще разойдутся... Еще разойдутся...

Говорят, что полы в особняке графа Лавалей были выстланы мрамором, по которому ступал император Нерон. Только один этот штрих дает возможность представить, сколь богат был дом Лавалей, как чтились в нем знатность, состоятельность, древность ро-

да. Вот почему, отдавая дочь свою, юную графиню Екатерину в руки князя Трубецкого, граф считал партию эту весьма достойной.

«Ее отец, — пишет декабрист Оболенский, — со времени французской революции поселился у нас, женившись на Александре Григорьевне Козицкой, получил вместе с ее рукою богатое наследство, которое придало ему тот блеск, в котором роскошь служит только украшением и необходимою принадлежностью высокого образования и изящного вкуса. Воспитанная среди роскоши, Катерина Ивановна с малолетства видела себя предметом внимания и попечения как отца, который нежно ее любил, так и матери, и прочих родных. Кажется, в 1820 году она находилась в Париже с матерью, когда князь Сергей Петрович Трубецкой приехал туда же, провожая больную свою двоюродную сестру княжну Куракину; познакомившись с графиней Лаваль, он скоро... предложил ей руку и сердце, и таким образом устроилась их судьба, которая впоследствии так резко очертила высокий характер Катерины Ивановны и среди всех превратностей судьбы устроила их семейное счастье на таких прочных основаниях, которых ничто не могло поколебать впоследствии».

Трубецкому было около тридцати. Он уже был заслуженным героем, участником Бородинской битвы, заграничных походов войска российского 1813—1815 годов, носил чин полковника, служил штаб-офицером 4-го пехотного корпуса. Его род восходил в глубины истории, он был богат, приметен, образован. Единственного не знал граф Лаваль: его зять состоит в тайном обществе, и не просто состоит — он управляет делами Северного общества, он готовится свергнуть царя, ему намечено быть диктатором восстания.

А пока — сверкающая огнями свадьба, упоитель-

ный медовый месяц, любимая и любящая жена, балы, путешествия, армейская служба.

А пока — тайные встречи с друзьями, проспекты будущего России, которая сбросит коросту крепостничества, разорвет цепи рабства и обратится республикой... «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна...» Вспрянет!

И вдруг... 14 декабря 1825 года. Сенатская площадь. День гордости. День неудачи. Замешательство в Зимнем дворце, растерянный Николай I. Но замешательство и в рядах восставших. Отчаянная храбрость одних и нерешительность других, оторванность от народа, ради которого они вышли на площадь, предательство Шервуда, Майбороды, Витта, Бошняка, Я. Ростовцева, успевших предупредить правительство о заговоре, неожиданная смерть Александра I, поставившая членов тайного общества перед необходимостью немедленного выступления...

Было мгновение, когда победа могла оказаться на стороне восставших, но декабристам не удалось воспользоваться своим преимуществом, повернуть готовые восстать полки против царя, с которым не желали иметь дело даже измайловцы.^х «Новый император, — вспоминает Михаил Бестужев, — будучи шефом этого полка, на троекратное приветствие: «Здорово, ребята!» — не получил даже казенного ответа и удалился в смущении. И этот полк оставили стоять до вечера против нас».

Отсрочка была на руку императору, и тогда грянули пушки, решившие исход дела.

«Картечь догоняла лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валялись на каждом шагу; солдаты забегали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но кар-

течь прыгала от стены в стены и не щадила ни одного закоулка» — так описал финал восстания моряк и художник Николай Александрович Бестужев, пытавшийся вместе с братьями соединить восставших, повести их на приступ.

Как известно, Сергей Петрович Трубецкой участия в восстании не принимал. Человек, намеченный в его диктаторы, не был на Сенатской площади. Но он был осужден как один из руководителей «возмущения» сперва на смертную казнь, потом замененную двадцатилетней каторгой, а «после оной» — на вечное поселение в Сибири.

Надо представить себе Екатерину Ивановну Трубецкую, нежную, тонкого душевного склада женщину, чтобы понять, какое смятение поднялось в ее душе. «Екатерина Ивановна Трубецкая, — пишет декабрист Оболенский, — не была хороша лицом, но тем не менее могла всякого обворожить своим добрым характером, приятным голосом и умною, плавною речью. Она была образованна, начитанна и приобрела много научных сведений во время своего пребывания за границей. Немалое влияние в образовательном отношении оказало на нее знакомство с представителями европейской дипломатии, которые бывали в доме ее отца, графа Лавалля. Граф жил в прекрасном доме на Английской набережной, устраивал пышные пиры для членов царской фамилии, а по средам в его салон собирался дипломатический корпус и весь петербургский бонд».

Поэтому в тот миг, когда Екатерина Ивановна решила следовать за мужем в Сибирь, она вынуждена была преодолеть не только силу семейной привязанности, сопротивление любящих родителей, уговаривающих ее остаться, не свершать безумия. Она не толь-

ко теряла весь этот пышный свет, с его балами и роскошью, с его заграничными вояжами и поездками на кавказские «воды», — ее отъезд был вызовом всем этим «членам царской фамилии, дипломатическому корпусу и петербургскому бомонду». Ее решение следовать в Сибирь разделило, раскололо это блестящее общество на сочувствующих ей откровенно, на благословляющих ее тайно, на тайно завидующих ей, открыто ненавидящих.

Хорошо осведомленная через чиновников, подчиненных ее отца, обо всем, что делается за стенами тюрьмы над Невой, она установила дату отправления в Сибирь ее мужа и уехала буквально на следующий день после того, как закованного в кандалы князя увезли из Петропавловской крепости, уехала первой из жен декабристов, еще не зная точно: сможет ли кто-нибудь из них последовать ее примеру?

24 июля 1826 года закрылся за ней последний полосатый шлагбаум петербургской заставы, упала пестрая полоска, точно отрезала всю ее предыдущую жизнь.

Ее сопровождал в дороге секретарь отца господин Воше. С удивлением смотрел он на одержимую молодую женщину, которая так торопилась, что едва прикасалась к пище, едва смыкала на коротких стоянках глаза. Когда верстах в ста от Красноярска сломалась ее карета, она села в перекладную телегу, отправилась в Красноярск и оттуда прислала тарантас за своим спутником, который не мог перенести тяжелого путешествия на телеге по тряской сибирской дороге. Он видывал всякое, добросовестный чиновник, но такое всепоглощающее желание — скорей, скорей, скорей! — изумляло даже его.

И все же они опоздали: декабристов в Иркутске не было — их уже разослали на близлежащие заводы

Князь Евгений Петрович Оболенский, «Записки» которого цитировались выше, был в числе первых восьми декабристов, привезенных в столицу Восточной Сибири. На первых порах ему было назначено местом пребывания Усолье на Ангаре — соляной завод, расположенный в 60 верстах от Иркутска. Вспоминая о первых днях в Сибири, Оболенский пишет, что «...вопреки всем полицейским мерам, скоро... дошла весть, что княгиня Трубецкая приехала в Иркутск: нельзя было сомневаться в верности известия, потому что никто не знал в Усолье о существовании княгини, и потому выдумать известие о ее прибытии было невозможно; ...мысль об открытии сношений с княгиней Трубецкой меня не покидала: я был уверен, что она даст мне какое-нибудь известие о старике отце, — но как исполнить намерение при бдительном надзоре полиции — было весьма затруднительно».

Связь помог установить один из местных жителей.

«Он верно исполнил поручение — и через два дня принес письмо от княгини Трубецкой, которая уведомляла о своем прибытии, доставила успокоительные известия о родных и обещала вторичное письмо... Письмо вскоре было получено, и мы нашли в нем пятьсот рублей, коими княгиня делилась с нами. Тогда же предложила она нам написать к родным, с обещанием доставить наше письмо... Случай благоприятный был драгоценен для нас, и мы им воспользовались, сердечно благодаря Катерину Ивановну за ее дружеское внимание».

В начале декабря было получено распоряжение препроводить декабристов еще дальше — в Нерчинские рудники, и, когда их собрали в Иркутске перед отправкой за Байкал, Екатерина Ивановна увидела наконец мужа.

Вот как описывает их свидание тот же Оболенский:

«Нас угостили чаем, завтраком, а между тем тройки для дальнейшего нашего отправления были уже готовы. В это время, смотря в окно, вижу неизвестную мне даму, которая, въехав во двор, соскочила с дрожек и что-то расспрашивает у окружающих ее казаков. Я знал от Сергея Петровича, что Катерина Ивановна в Иркутске, и догадывался, что неизвестная мне дама спрашивает о нем. Поспешно сбежав с лестницы, я подбежал к ней: это была княжна Шаховская, приехавшая с сестрой, женой Александра Николаевича Муравьева, посланного на жительство в город Верхне-Удинск. Первый вопрос ее был: «Здесь ли Сергей Петрович?» На ответ утвердительный она мне сказала: «Катерина Ивановна едет вслед за мною: непременно хочет видеть мужа перед отъездом, скажите это ему». Но начальство не хотело допускать этого свидания и торопило нас к отъезду; мы медлили сколько могли, но, наконец, принуждены были сесть в назначенные нам повозки. Лошади тронулись; в это время вижу Катерину Ивановну, которая приехала на извозчике и успела соскочить и закричать мужу; в мгновение ока Сергей Петрович соскочил с повозки и был в объятиях жены; долго продолжалось это нежное объятие, слезы текли из глаз обоих. Полицмейстер суетился около них, прося их расстаться друг с другом: напрасны были его просьбы. Его слова касались их слуха, но смысл их для них был непонятен. Наконец, однако ж, последнее «прости» было сказано, и вновь тройки умчали нас с удвоенною быстротою».

Иркутский гражданский губернатор Цейдлер в сообщении генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому:

«Жене Трубецкого, оставленной в Иркутске, на на-

стоятельную просьбу ее о дозволении следовать за мужем на другом транспорте мною отказано, представляя, что транспорт идет с партией преступников и что оба делают последний вояж, причем убедил ее остаться до зимы в Иркутске, в которое время не оставлю всевозможно убедить ее оставить намерение следовать за мужем».

Николай I, разрешив женам декабристов ехать в Сибирь вслед за мужьями, вскоре понял, что поступил вопреки собственному мстительному замыслу — сделать так, чтобы Россия забыла своих мучеников, чтобы время и отдаленность их тюрьмы, отсутствие информации об их жизни стерли их имена из памяти народной. Женщины разрушили этот замысел, а точнее — умысел.

«Его величество, — пишет Мария Николаевна Волконская, — не одобрял следования молодых жен за мужьями: этим возбуждалось слишком много участия к бедным сосланным. Так как последним было запрещено писать родственникам, то надеялись, что этих несчастных скоро забудут в России, между тем как нам, женам, невозможно было запретить писать и тем самым поддерживать родственные отношения».

Закона, запрещающего жене быть со своим мужем, даже и осужденным как уголовный преступник, в те поры не было. Более того, в законе говорилось:

«С т а т ь я 222. Женщины, идущие по собственной воле, во все время следования не должны быть отделены от мужей и не подлежать строгости надзора».

Однако Трубецкую от мужа отделили.

Иркутский губернатор Цейдлер получил от генерал-губернатора Восточной Сибири, тайного советника

Лавинского, который в те дни находился в Петербурге, предписание, одобренное самим государем:

«Из числа преступников, Верховным уголовным судом к ссылке в каторжную работу осужденных, отправлены некоторые в Нерчинские горные заводы.

За сими преступниками могли последовать их жены, не знающие ни местных обстоятельств, ни существующих о ссыльнокаторжных постановлений и не предвидящие, какой, по принятым в Сибири правилам, подвергнут они себя участи, соединясь с мужьями в теперешнем их состоянии.

Местное начальство неукоснительно обязано вразумить их со всею тщательностию, с каким пожертвованием сопрягается такое их преднамерение, и стараться сколько возможно от одного предотвратить...

...Сообразив сие и, зная, что жены осужденных не иначе могут следовать в Нерчинск, как через Иркутск, я возлагаю особенное попечение Вашего превосходительства употребить все возможные внушения и убеждения к оставлению их в сем городе и к обратному отъезду в Россию».

Далее в предписании следуют пункты, те самые, которыми пытал Иван Богданович Цейдлер княгиню Трубецкую, а за ней и Волконскую, и Муравьеву, и всех других. С октября по январь шли разговоры, в январе 1827 года Трубецкая обратилась к губернатору с письмом — тем самым, с которого начался наш рассказ, но только в апреле, подписав все «пункты» отречения от своих дворянских и человеческих прав, она отправилась за Байкал. И вот она в Большом Нерчинском заводе — тогдашнем центре каторжного Забайкалья. Здесь догнала ее Мария Николаевна Волконская. «Свидание было для нас большой радостью, — вспоминает она, — я была счастлива иметь подругу, с которой могла делиться мыслями; мы друг друга под-

держивали... Я узнала, что мой муж находится в 12 верстах, в Благодатском руднике. Каташа, выдав вторую подписку, отправилась вперед, чтобы известить Сергея о моем приезде...», и далее Мария Николаевна рассказывает об этой «второй подписке», о новом унижении, которому их подвергли уже здесь, в Нерчинске:

«По выполнении различных несносных формальностей, Бурнашев, начальник рудников, дал мне подписать бумагу, по которой я соглашалась видаться с мужем только два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера, никогда не приносить ему ни вина, ни пива, никогда не выходить из деревни без разрешения заведующего тюрьмою — и еще какие-то другие условия. И это после того, как я покинула своих родителей, своего ребенка, свою родину, после того, как проехала 6 тысяч верст и дала подписку, по которой отказывалась от всего и даже от защиты закона, — мне заявляют, что я и на защиту своего мужа не могу более рассчитывать. Итак, государственные преступники должны подчиняться всем строгостям закона, как простые каторжники, но не имеют права на семейную жизнь, даруемую величайшим преступникам и злодеям. Я видела, как последние возвращались к себе по окончании работ, занимались собственными делами, выходили из тюрьмы; лишь после вторичного преступления на них надевали кандалы и заключали в тюрьму, тогда как наши мужья были заключены и в кандалах со дня приезда».

Рудник Благодатный. Коротенькая улица вросших в землю бревенчатых домов, каменистая почва, местами прикрытая травой, голые, выстриженные сопки — лес сведен на пятьдесят верст вокруг, дабы не служил укрытием каторжникам, ежели вздумают бежать. Над

всем этим убогим, нагим пейзажем высится усеченная пирамида горы Благодатки, изъеденная снаружи, выгрызенная внутри, в темных норах добывают здесь заключенные свинец с примесью драгоценного серебра.

Трубецкая и Волконская сняли малюсенькую избушку — два подслеповатых окна в улицу. С холодными — по-сибирски — сенями. Крытую дранью. Ляжешь головой к стене — ноги упираются в двери. Проснешься утром зимним — волосы примерзли к бревнам — между венцами ледяные щели.

Каторжная тюрьма. Разделенная на две неравные половины, она прятала в темной утробе своей по вечерам убийц, грабителей, разбойников — им была отдана половина побольше, государственным преступникам была отведена половина потеснее, но и этого было мало: внутри помещение «князей», как их называли сибиряки, дощатыми перегородками поделили на малые каморки без света. В одной из них помещены были Трубецкой, Волконский и Оболенский, и, чтобы этот третий имел место для сна, приколотили для него нары вторым этажом — над Трубецким.

Старожил Сибири П. И. Першин приводит рассказ достоверного свидетеля, горного инженера Фитингофа, служившего в те поры на руднике Благодатном:

«В то время горным начальником был Бурнашев, человек строгий до грубости и боязливый до трусости. Такие ссыльные его очень беспокоили, и он не знал, как с ними быть и как поступать. Если им дать послабление, не использовать буквально инструкцию, гласившую употреблять их на тяжелую рудничную работу, то он может жестоко поплатиться своей карьерой. Как быть? Надо выполнить инструкцию. Выполнить инструкцию — значит их отправить прямо в подземелье, в рудники, ручным способом, киркою и молотом, добывать руду при свете мерцающих свечных

сальных огарков. Бурнашев так и поступил. Каждый день, не лениясь, спускался он в рудники и осведомлялся о производительности работ «каторжников».

— Черт знает, что делать с этими сиятельными каторжниками, — горевал Бурнашев. — С одной стороны, гласит инструкция, держать их без всяких послаблений, в строгости, занимать в рудниках тяжелыми работами, а с другой — заботиться об их здоровье. Как тут быть? — несколько раз повторил Бурнашев. — Если бы не этот последний пункт, то я бы их скоро вывел в расход».

Камеры были тесны, на работу водили в кандалах, пища была более чем скудной, приготовлена ужасно. Тюрьма кишела клопами, казалось, из них состояли и стены, и нары, и потолки; зуд в теле был постоянным и невыносимым. Невольники добывали скипидар, смазывали им тело, но это помогало лишь на короткий срок, от скипидара облезала кожа, а клопы с новой силой набрасывались на несчастного. Волконская и Трубецкая, возвращаясь из тюрьмы после короткого свидания с мужьями, должны были немедленно вытряхивать платье.

Можно представить, каким событием, каким счастьем был для заключенных приезд двух отважных женщин. Княгини объединили всех восьмерых узников в товарищескую семью, проявляя ко всем внимание и заботу. Во всем отказывая себе, они покупали ткани в Нерчинске и шили, как могли, одежду заключенным, ибо в руднике, в тесном и темном забое, трудно было сохранить ее, не порвать. Они организовали обеды для декабристов, во всем отказывая себе.

«У Каташи, — пишет Волконская, — не осталось больше ничего. Мы ограничили свою пищу: суп и каша — вот наш обыденный стол; ужин отменялся, Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок

черного хлеба и запивала его квасом. За таким ужином застал ее один из сторожей тюрьмы и передал об этом ее мужу. Мы имели обыкновение посылать обед нашим; надо было чинить их белье. Как сейчас вижу перед собой Каташу с поваренной книгой в руках, готовящую для них кушанья и подливы. Как только они узнали о нашем стесненном положении, они отказались от нашего обеда; тюремные солдаты, все добрые люди, стали на них готовить. Это было весьма кстати».

Но главным для узников было все же не столько облегчение их физических мук, сколько облегчение мук нравственных. С приездом героических женщин разлетелась задуманная Николаем I отторженность декабристов от мира. Женщины стали прилежными секретарями для всех восьмерых. Декабристам была запрещена личная переписка, Трубецкая и Волконская сообщали их родным о жизни на руднике, о каждом из заключенных, пересказывали их просьбы и приветия своими словами, якобы от своего лица. А письма эти, долетев сквозь руки нерчинского, иркутского, тобольского, петербургского начальства, коему предписано было письма сии вскрывать и прочитывать, до России, попав наконец в руки адресатов, распространялись, переписывались для друзей дома и родственников, рассылались в копиях, а стало быть, будили память и сочувствие, ободряли других жен декабристов, собиравшихся в далекий путь.

«Прибытие этих двух высоких женщин, — пишет Оболенский, — русских по сердцу, высоких по характеру, благотельно подействовало на нас всех; с их прибытием у нас составила семья. Общие чувства обратились к ним, и их первою заботою были мы же: своими руками шили они нам то, что казалось необходимым для каждого из нас; остальное покупалось ими в лавках; одним словом, то, что сердце женское

угадывает по инстинкту любви, этого источника всего высокого, было ими угадано и исполнено; с их прибытием и связь наша с родными и близкими сердцу получила то начало, которое потом уже не прекращалось, по их родственной почтительности доставлять родным нашим те известия, которые могли их утешить при совершенной неизвестности о нашей участи. Но как исчислять все то, чем мы им обязаны в продолжение стольких лет, которые ими посвящены были попечению о своих мужьях, — а вместе с ними и об нас? Как не вспомнить и импровизированные блюда, которые приносились нам в нашу казарму Благодатского рудника — плоды трудов княгинь Трубецкой и Волконской, в которых их теоретическое знание кухонного искусства было подчинено совершенному неведению применения теории к практике. Но мы были в восторге, и нам все казалось таким вкусным, что едва ли хлеб, недопеченный рукою княгини Трубецкой, не показался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника».

Трубецкая виделась с мужем два раза в неделю — в тюрьме, в присутствии офицера и унтер-офицера они не могли передать друг другу и тысячной доли того, что чувствовали. В остальные дни княгиня брала скамеечку, поднималась на склон сопки, откуда был виден тюремный двор, — так ей удавалось порой хоть издали посмотреть на Сергея Петровича.

«Заключенных всегда окружали солдаты, так что жены могли их видеть только издали, — пишет жена декабриста Полина Анненкова. — Князь Трубецкой срывал цветы на пути своем, делал букет и оставлял его на земле, а несчастная жена подходила поднять букет только тогда, когда солдаты не могли этого видеть.

...Таким образом они провели почти год в Нерчин-

ске, а потом были переведены в Читу. Конечно, в письмах своих к родным они не могли умолчать ни о Бурнашеве, ни о тех лишениях, каким подверглись, и, вероятно, неистовства Бурнашева были поняты не так, как он ожидал, потому что он потерял свое место...»

Действительно, у правительства возникла идея собрать декабристов-каторжан в одно место, чтобы уменьшить их революционизирующее влияние на местное население и на каторжников-уголовников. Таким местом была выбрана стоящая на высоком берегу реки Ингоды деревушка Чита. 11 сентября 1827 года, опередив на два дня мужей своих, Трубецкая и Волконская въехали в Читу.

Была когда-то в Чите улица с непривычным названием — Дамская. Теперь название сменили. Между тем именно эта улица, основанная женами декабристов, дала серьезный экономический толчок деревушке в восемнадцать домов. Эта улица стала своеобразным духовным центром Сибири — сюда приходили письма и книги из России, отсюда исходила вся информация о жизни декабристов в Сибири — теперь уже не восьми человек, а ото всех, собранных под крышу читинского острога, писали жены декабристов друзьям и близким. Александра Муравьева, Полина Анненкова, Елизавета Нарышкина, Александра Ентальцева, чуть позже — Наталья Фонвизина, Александра Давыдова... Но так как среди заключенных более всего знакомых было у Трубецкой и у Волконской, на их долю выпала самая большая работа — иногда они отсылали по десятку писем в день.

Ежедневно ходили они к забору острога, сквозь щели в плохо пригнанных бревнах можно было перекинуться словом, подбодрить, передать весточку из

Петербурга или Москвы. Екатерина Ивановна устраивала, как шутили женщины, «целые приемы»: она сидела на скамеечке, принесенной из дому, ибо, будучи полноватой, уставала подолгу стоять, и поочередно беседовала с узниками. Солдаты пытались помешать таким «незаконным» свиданиям, какой-то ретивый служака в административном рвении ударил даже Трубецкую кулаком. Это вызвало столь решительное негодование дам, что комендант Станислав Романович Лепарский вынужден был принять меры к подчиненному, извиниться перед княгиней. Потом привыкли к этим «посиделкам», а со временем, стараниями Лепарского, семейных начали ненадолго отпускать к женам, хотя и под присмотром офицеров.

В то же самое время, после того, как был раскрыт заговор в Зарентуйском руднике, дальнейшее пребывание декабристов в читинском остроге стало небезопасным. Поэтому среди забайкальских гор, в Петровском заводе, строили взамен временно приспособленного читинского новый острог. Бурнашев начал было строительство в Акатуе — на этом руднике располагалась самая беспощадная, безвозвратная тюрьма Забайкалья, но генерал Лепарский нашел климат Аката убийственным для узников и перенес новое место пребывания декабристов. К несчастью, долина, показавшаяся ему нарядной и солнечной, была выбрана с горы — привлекательнейшая сочная зелень оказалась болотом.

Три года в Чите. Три года в замкнутом круге общения, в непрестанных переживаниях за судьбу мужей, их товарищей, которые так теперь не походили на тех блестящих молодых людей высшего света, какими встречала она их еще совсем недавно на приемах у своего отца. Они обросли бородами, были одеты странно, чаще всего в одежду собственного покроя и

производства, сшитую из случайной ткани или выцветших одеял. Полина Анненкова описывает встречу Трубецкой с Иваном Александровичем Анненковым, которого она увидела первым, въезжая в Читу:

«...Он в это время мел улицу и складывал сор в телегу. На нем был старенький тулуп, подвязанный веревкою, и он весь оброс бородой. Княгиня Трубецкая не узнала его и очень удивилась, когда ей муж сказал, что это тот самый Анненков, блестящий молодой человек, с которым она танцевала на балах ее матери, графини Лаваль».

Вечер. Екатерина Ивановна сидит за дощатым, чисто выскобленным и вымытым столом, напротив нее — Волконская. Обе пишут. Послание Трубецкой не к родным, не к друзьям. Она в который раз обращается к человеку казенному, к шефу жандармов Бенкендорфу. О чем она его просит на этот раз?..

Неяркая свеча мигает — мошка мельтешит над языком пламени. Летний ветер, теплый, но отрывистый, взбивает пыль, бросает ее пригоршнями в окно.

За тонкой переборкой постанывает во сне их третья подруга — Александра Ентальцева — ей нездоровится.

Трубецкая пишет:

«...Позвольте мне присоединиться к просьбе других жен государственных преступников и выразить желание жить вместе с мужем в тюрьме».

И думает про себя: «Боже, до чего же ты дошла, Россия Николая, ежели женщина должна воевать за право жить в тюрьме!»

Разрешение было получено незадолго до перехода на новое местожительство в Петровский завод, или, как его называли кратко — Петровка.

«Эта жизнь, — писала Екатерина Ивановна матери уже из Петровского завода, — которую нам пришлось выносить столько времени, нам всем слишком дорого стоила, чтобы мы вновь решились подвергнуться ей; это было свыше наших сил. Поэтому мы все находимся в остроге вот уже четыре дня. Нам не разрешили взять с собой детей, но если бы даже позволили, то все равно это было бы невыполнимо из-за местных условий и строгих тюремных правил. ...Если позволите, я опишу вам наше тюремное помещение. Я живу в очень маленькой комнатке с одним окном, на высоте сажени от пола, выходит в коридор, освещенный также маленькими окнами. Темь в моей комнате такая, что мы в полдень не видим без свечей. В стенах так много щелей, отовсюду дует ветер, и сырость так велика, что пронизывает до костей».

«Так начался в Петровке длинный ряд годов без всякой перемены в нашей участи», — пишет Волконская.

Был в Иркутске купец по фамилии Белоголовый. Человек деловой, самостоятельный в размышлениях о жизни, много ездящий в целях коммерции, он, вопреки установившемуся некоему отчуждению горожан от декабристов, вышедших на поселение, отдал двух сыновей своих на обучение изгнанникам — купец понимал: высокая культура, обширные знания, которыми владеют декабристы, не только помогут в образовании детей, но разовьют их души, разбудят их чувства, привьют благородство. И умный купец не ошибся. Его сыновья выросли достойными людьми, а один из них — Николай Андреевич Белоголовый — стал

замечательным врачом-гуманистом, был другом и биографом великого Боткина, доктором, человеком, оставившим приметный след в русской культуре. Ему мы обязаны книгой воспоминаний, в ней немало страниц посвящено его первым учителям. Между прочим, ему принадлежат замечательные слова о женах декабристов:

«Нельзя не сожалеть, что такие высокие и цельные по своей нравственной силе типы русских женщин, какими были жены декабристов, не нашли до сих пор ни должной оценки, ни своего Плутарха, потому что, если революционная деятельность декабристов-мужей, по условиям времени, не допускает нас относиться к ним с совершенным объективизмом и историческим беспристрастием, то ничто не мешает признать в их женах такие классические образцы самоотверженной любви, самопожертвования и необычайной энергии, какими вправе гордиться страна, вырастившая их, образцы которых без всякого зазора и независимо политической тенденциозности могли бы служить в женской педагогике во многих отношениях примерами для будущих поколений. Как не почувствовать благоговейного изумления и не преклониться перед этими молоденькими и слабенькими женщинами, когда они, выросшие в холе и в атмосфере столичного большого света, покинули, часто наперекор советам своих отцов и матерей, весь окружающий их блеск и богатство, порвали со всем своим прошлым, с родными и дружескими связями и бросились, как в пропасть, в далекую Сибирь с тем, чтобы разыскать своих несчастных мужей в каторжных рудниках и разделить с ними их участь, полную лишений и бесправия ссыльнокаторжных, похоронив в сибирских тундрах свою молодость и красоту! Чтобы еще более оценить величину подвига Трубецкой... надо помнить, что все это происходило в

20-х годах, когда Сибирь представлялась издали каким-то мрачным, ледяным адом, откуда, как с того света, возврат был невозможен и где царствовал произвол...»

В 1839 году закончился срок каторги декабристам, осужденным по первому разряду. Но испытания их на этом не завершились. Царь не выпускал их из Сибири. Их разметали по зауральской земле — в Якутию и на Енисей, в Бурятию, в Тобольск, Туринск, Ялуторовск...

Семья Трубецких поселилась в Оёке — небольшом селе близ Иркутска. Вместе с ними и в соседних селах вокруг стольного града Восточной Сибири жили Волконские, Юшневские, братья Борисовы, братья Поджио, Никита Муравьев и многие другие.

«Двумя главными центрами, — пишет Белоголовый, — около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они имели средства жить шире и обе хозяйки — Трубецкая и Волконская своим умом и образованием, а Трубецкая — и своей необыкновенной сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию; присутствие же детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения».

И далее:

«В 1845 году Трубецкие... жили еще в Оёкском селении в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из трех дочерей — старшей, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы — 10 лет и Зины — 8 лет и только что родившегося сына Ивана. Был у них еще раньше сын Лев, умерший в Оёке в 9-летнем возрасте, общий любимец, смерть которого долго составляла неутешное горе для родителей, и только появление на свет нового сына отчасти вознаградило их в этой потере. Сам

князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом... держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив. О княгине же Екатерине Ивановне... помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал, как вот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у нее помощь словом и делом. Князь тоже был добрый человек, а потому мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом».

К этому времени переменился в Иркутске генерал-губернатор. На эту должность назначен был Николай Николаевич Муравьев, человек более прогрессивный и более либеральный, чем его предшественники (впоследствии он получил приставку к фамилии — Амурский — за деятельность свою по освоению востока). Он считал возможным бывать в домах декабристов, помогал устроить в обучение детей, благодаря ему семьи Волконских и Трубецких перебрались в Иркутск. Вскоре две старшие дочери Трубецких вышли замуж — старшая за кяхтинского градоначальника Ребиндера, который некоторое время до этого был начальником Петровского завода, вторая — за сына декабриста Давыдова, давнего приятеля Пушкина, а меньшая — помолвлена с чиновником Свербеевым, служившим при генерал-губернаторе.

Сергей Петрович затеял отстроить дом поближе к центру города. Он сам рисовал чертеж этого деревянного особняка, похожего на старинные северные дома, с выдававшимся, украшенным резным фризом мезонином-лоджией, с анфиладой комнат, с камином...

В новый дом переселились в 1854 году, уже без Екатерины Ивановны.

Ее сразила тяжелая болезнь. Глубокая душевная усталость, простуда, тяготы бесконечных дорог и переселений, тоска по родине и родителям, смерть детей — вмиг сказалось все, что перенесла эта удивительная женщина, умевшая в самые трудные минуты жизни оставаться внешне спокойной, жизнерадостной.

«Дом Трубецких, — вспоминает Белоголовый, — со смертью княгини стоял как мертвый; старик Трубецкой продолжал горевать о своей потере и почти нигде не показывался; дочери его все вышли замуж, сын же находился пока в возрасте подростка».

В 1856 году новый царь — Александр II — издал манифест. Один из его пунктов имел отношение к декабристам: через тридцать бесконечных сибирских лет им милостиво разрешалось выехать в Россию, разрешалось с ограничениями — все же! — с оговорками, но разрешалось.

«Когда Трубецкой уезжал, — рассказывал старый иркутянин Волков, — провожало его много народу. В Знаменском монастыре, где погребены его жена Екатерина Ивановна и дети, Трубецкой остановился, чтобы навсегда проститься с дорогой для него могилой. Лишившись чувств, Трубецкой был посажен в возок и отбыл навсегда из Сибири, напутствуемый благими пожеланиями провожающих».

После амнистии князь переселился в Киев, где жила в ту пору старшая дочь, потом немного пожил в Одессе, переехал в Москву... Всюду было ему неуютно, пустота в душе не восполнялась.

22 ноября 1860 года, через шесть лет после смерти жены, он скончался в Москве. Перед смертью Трубецкой писал воспоминания — их выразительные и чистые строки оборвались на полужелании...



Мария Николаевна ВОЛКОНСКАЯ

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей;
Где душен был и воздух, вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал.
И весь обзор обширный и прекрасный
Мучительно на волю вызывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены...

Декабрист А. И. Одоевский

В салоне Зинаиды Волконской, поэтессы и покровительницы муз, в большом доме на Тверской, неподалеку от Страстного монастыря, было светло. По за-

навесям, укрывшим окна от излишне настойчивых взглядов, ходили тени, у парадного притормаживали экипажи, и странный человечек в простом неприметном одеянии, приткнувшись в соседней подворотне, отмечал про себя:

— Так... Господа итальянские артисты... Как всегда!.. Господа бумагомаратели... Как всегда... Ага, господин Веневитинов... Пушкин... Впрочем, тоже как всегда!

И впрямь был вечер как вечер, и если он интересовал сегодня господина Дибича, по чьему тайному повелению дежурил здесь человек, то лишь потому, что среди гостей была молодая огненноглазая женщина, дочь генерала Раевского, едущая вслед за мужем своим в Сибирь. Каких-то двенадцать месяцев назад гремели в доме этом безобидные балы, поэты читали сочинения свои, возможно, и противоугодные правительству, однако же либерализм их простирался не столь далеко. Возмущение на Сенатской площади, арест декабристов, суд над ними породили в Зимнем дворце настороженность и опасение нового восстания, хотя, кажется, все заговорщики арестованы, а их могучие семьи подкошены и смирились с горем своим. Однако бунт притаился в сердцах, тлеет искрой. Достаточно ветра, чтобы все вспыхнуло вновь. Ну нет, береженного бог бережет. Как бельмо на глазу для Дибича, для Бенкендорфа, для, страшно сказать, самого императора полуосвещенные окна вот таких особняков. А дом на Тверской в доношениях именовался не иначе как «сосредоточие всех недовольных». Здесь и впрямь жил дух вольный и непреклонный. Зинаида Волконская не скрывала презрения к властям и возмущения жестокой расправой над декабристами.

Вот уже несколько дней жила у родственницы сво-



ей Мария Николаевна Волконская, и это особенно тревожило тайную канцелярию царя.

В своих «Записках» Волконская вспоминает этот вечер 26 декабря 1826 года, вечер, предшествующий ее отъезду в Сибирь.

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда; окружила меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве, и несколько талантливых девиц московского общества. Я была в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, что я слышу его в последний раз, еще усиливала мой восторг».

Сохранилась запись этого вечера в бумагах Веневитинова, его рассказ и рассказ Волконской как бы дополняют друг друга.

Веневитинов: «Вчера провел я вечер, незабвенный для меня. Я видел во второй раз и еще более узнал несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая сама отправляется в путь, вслед за ним, вместе с Муравьевой. Она нехороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло двадцать лет; но так рано обреченная жертва кручины, эта интересная и вместе могучая женщина — больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала; источник слез уже иссох в ней. Она уже уверилась в своей судьбе и, решившись всегда носить ужасное бремя горести на сердце, по видимому, успокоилась... Она в продолжение целого вечера все слушала, как пели, и когда один отрывок был отпет, то она просила другого».

Волконская: «В дороге я простудилась и совершенно потеряла голос, а гели именно те вещи, ко-

торые я лучше всего знала: меня мучила невозможность принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте, ведь я никогда больше не услышу музыки».

В е н е в и т и н о в: «Отрывок из «Агнессы»... был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастия Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей (в тот вечер было много гостей, и до двенадцати часов Мария Николаевна не входила в гостиную, сидела в другой комнате за дверью) отняло голос и силу у княгини Зинаиды, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это заметили в другой комнате: ибо в таком случае все бы ее окружили, а она страшится, чуждается света, и это понятно. Остаток вечера был печален... Когда все разъехались и осталось только очень мало самых близких... она вошла в гостиную».

В о л к о н с к а я: «Тут был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала: мой отец приютил его в то время, когда он был преследуем императором Александром I за стихотворения, считавшиеся революционными... Пушкин мне говорил: «Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках».

В е н е в и т и н о в: «...Становилось поздно, и заметно было, что она устала, хотя она сама в этом не сознавалась. Во время ужина она не плакала, не рыдала, но старалась всех нас развлечь от себя, говорила вообще очень мало, но говоря о предметах посторонних. Когда встали из-за стола, она тотчас пошла в

свою комнату. И мы уехали после двух часов. Я возвратился домой с душою полною и никогда, мне кажется, не забуду этого вечера».

Процокали копыта, укатили в ночь кареты; уже со стороны реки потянул пронзительный ветер, расчищающий дорогу неторопливому зимнему солнцу. В доме погасли свечи, окна точно запали в стены, ушли внутрь, как бы спасаясь то ли от ветра, то ли от взгляда настороженного, ждущего. И когда казенному человеку показалось уже, что на сегодня служба его кончилась, подкатила к черному входу кибитка. И чей-то голос сказал:

— Пора...

И чей-то голос ответил:

— Пора!..

Мария Николаевна намеревалась провести в Москве еще несколько дней. Однако внезапно решение ее изменилось, она заторопилась. Причиной этому был снегопад. Он как бы говорил, что дороги затвердели после осенней слякоти, стали проезжими для саней, он как бы символизировал снежную загадочную Сибирь. В письме к Вере Федоровне Вяземской, жене известного писателя, друга Пушкина, Мария Николаевна объяснила свое состояние:

«Не могу передать, с каким чувством признательности я вижу этот снегопад. Помогите мне, ради бога, уехать сегодня ночью, дорогая и добрая княгиня. Свести покоя нет с тех пор, что я вижу этот благодатный снег».

И, как продолжение этого письма, строки из «Записок» княгини Волконской:

«Сестра, видя, что я уезжаю без шубы, испугалась за меня и, сняв со своих плеч салоп на меху, надела

его на меня. Кроме того, она снабдила меня книгами, шерстяными для рукоделия и рисунками. Я... не могла не повидать родственников наших сосланных; они мне принесли письма для них и столько посылок, что мне пришлось взять вторую кибитку, чтобы везти их. Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом...»

Отец Марии Николаевны — отважный генерал, герой войны с Наполеоном, воспетый Жуковским:

Неподкупный, неизменный,
Хладный вождь в грозе военной,
Жаркий сам подчас боец,
В дни спокойные — мудрец...

Мать Марии Николаевны — Софья Алексеевна Раевская — была внучкой Ломоносова. От нее унаследовала дочь и темные глаза, и темные волосы, и гордую статью. Два брата — друзья Пушкина.

Первые известные нам эпизоды из юности Марии Раевской, будущей княгини Волконской, тоже связаны с Пушкиным.

«Приехав в Екатеринослав, я соскучился, поехал кататься по Днепру: выкупался и схватил горячку по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в корчме, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его предложил мне путешествие по кавказским водам». Так писал Пушкин брату Льву в сентябре 1820 года. Мария Николаевна записала эту встречу так:

«Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей (сестра

Марии Николаевны)... Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость: мне было только 15 лет».

И в самом деле, Пушкин описал эту сцену в «Евгении Онегине»:

Я помню море пред грозою;
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

Какой же силы было это чувство, если поэт пронес его сквозь всю свою, полную скитаний и треволнений жизнь! Машенька являлась в его сочинениях то в образе Черкешенки в «Бахчисарайском фонтане», то Марией, дочерью Кочубея в «Полтаве», он даже сменил подлинное имя — Матрена — на милое ему Мария. Ее лицо возникало в легких росчерках пера на страницах его рукописей, отголоски высокого чувства есть и в «Цыганах», и в «Евгении Онегине». Он берег это чув-

ство, он боялся выдать его свету, который все размотал бы, оговорил, опошлил. Вечный родник жил в душе поэта, питая чистой ключевой струей его думы, его строки, его осеннюю грусть.

Чем дальше от нас тот двадцатый год XIX столетия, чем дальше счастливая, наполненная солнцем поездка в Гурзуф, тем виднее потаенная любовь поэта, любовь, мимо которой, вероятно, прошла, по юности лет, Машенька Раевская.

Между тем она подрастала, хорошела. Раевские дали детям своим отменное домашнее образование, и возрастающая привлекательность Машеньки, соединенная с тонкими суждениями, с поэтичностью, с удивительной музыкальностью, самобытностью, сделали ее приметной среди сверстниц. К ней стали свататься...

«...Я вышла замуж, — пишет Волконская, — в 1825 году за князя Сергея Григорьевича Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность. Мне было грустно с ними расставаться: словно сквозь подвенечный вуаль мне смутно виднелась ожидавшая нас судьба. Вскоре после свадьбы я заболела, и меня отправили вместе с матерью, с сестрой Софьей и моей англичанкой в Одессу, на морские купанья. Сергей не мог нас сопровождать, так как должен был, по служебным обязанностям, остаться при своей дивизии. До свадьбы я его почти не знала. Я пробыла в Одессе все лето и, таким образом, провела с ним только три месяца в первый год нашего супружества; я не имела понятия о существовании тайного общества, которого он был членом. Он был старше меня лет на двадцать и потому не мог иметь ко мне доверия в столь важном деле».

На свадьбе Пестель взял с Волконского клятву — не уходить из общества.

Между тем тайна, которую вынужден был хранить Сергей Григорьевич Волконский, мешала ему завоевать расположение жены, она же всей тонкой и чувствительной натурой своей ощущала в нем неполную откровенность. Ее желание понять мужа натыкалось на странное невидимое препятствие, в такие минуты он становился ей, как писала Мария Николаевна сестрам, «несносным». Их отчужденность росла. Между тем Мария Николаевна готовилась стать матерью, и ей пора было возвращаться домой.

«Он приехал за мной к концу осени, отвез меня в Умань, где стояла его дивизия, и уехал в Тульчин — главную квартиру второй армии. Через неделю он вернулся среди ночи; он меня будит, зовет; «Вставай скорей», я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чем дело? «Пестель арестован». — «За что?» — Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила. Я видела, что он был грустен, озабочен. Наконец он мне объявил, что обещал моему отцу отвезти меня к нему в деревню на время родов, — и вот мы отправились. Он меня сдал на попечение моей матери и немедленно уехал, тотчас по возвращении он был арестован и отправлен в Петербург. Так прошел первый год нашего супружества; он был еще на исходе, когда Сергей уже сидел под затворами крепости в Алексеевском равелине».

После ареста князя Волконского ее окружили заговором молчания. Письма к ней от мужа, от его сестры и брата перехватывались, обо всем, что произошло на Сенатской площади, говорили глухо. На страже стоял

брат Александр, взявший контроль над сестрой в свои руки. Екатерина, жена Михаила Орлова, чудом избежавшего каторги, писала Александру, что на месте Машеньки она, не задумываясь, отправилась бы за мужем своим, но этого письма Мария не видела.

Ждали суда, ждали отъезда Волконского в ссылку, в Петербурге были поставлены семейные заставы, чтобы заранее знать все, что связано с будущим декабристов. Ко всему еще Мария Николаевна была тяжело больна.

«Когда я приходила в себя, я спрашивала о муже; мне отвечали, что он в Молдавии. Между тем как он был уже в заключении и проходил через все нравственные пытки допросов».

Желание увидеть мужа стало невыносимым, и Мария Николаевна потребовала от родных правды. Тогда ей объявили, что Сергей Григорьевич арестован, но постарались дело изобразить так, чтобы судьба мужа и все, что с ним происходит, вызвало бы как можно меньше сочувствия. Теперь она узнала, что и отец ее, и брат Александр — в Петербурге, что они пытаются хлопотать по делу Орлова и Волконского, принимая все меры, используя все связи, чтобы выручить зятьев из беды. Мария Николаевна объявила матери, что едет в Петербург.

«Все было готово к отъезду; когда пришлось вставать, я вдруг почувствовала сильную боль в ноге. Посылаю за женщиной, которая так усердно молилась за меня богу; она объявляет, что это рожа, обертывает мне ногу в красное сукно с мелом, и я пускаюсь в путь со своей доброй сестрой и ребенком, которого, по дороге, оставляю у графини Браницкой, тетки моего отца».

Она ехала и день и ночь, преодолевая боль и уста-

лость. Был апрель. Дороги размыты внешними водами, колеса по ступицу зарывались в грязь, черные комья летели из-под копыт замаявшихся лошадей. Опасаясь за здоровье дочери, мать княгини тоже примчалась в Петербург. Душевное состояние семьи Раевских в эти дни сохранила их переписка.

А. Н. Раевский — сестре, Е. Н. Орловой, 6.4.1826 г.:

«Мама приехала сегодня утром, Маша здесь со вчерашнего вечера. Ее здоровье лучше, чем я смел надеяться, но она страшно исхудала, и ее нервы сильно расстроены. Бедная, она все еще надеется. Я буду отнимать у нее надежды только с величайшей постепенностью: в ее положении необходима крайняя осторожность».

Отец Н. Н. Раевский (он вернулся из Петербурга в Болтышку) — Марии Николаевне, 14.4.1826 г.:

«Неизвестность, в которой о тебе, милый друг Машенька, я нахожусь, мне весьма тягостна. Я знал все, что ожидает тебя в Петербурге. Трудно и при крепком здоровье переносить таковые огорчения. Отдай себя на волю Божию!.. Не забывай, мой друг, в твоём огорчении милого сына твоего, не забывай отца и мать, братьев, сестер, кои тебя так любят. Повинуйся судьбе; советов и утешений более тебе сообщить не могу...»

М. Н. Волконская. «Записки»:

«Некому было дать мне доброго совета: брат Александр, предвидевший исход дела, и отец, его опасавшийся, меня окончательно обошли. Александр действовал так ловко, что я все поняла лишь гораздо позже, уже в Сибири, где узнала от своих подруг, что они постоянно находили мою дверь запертою, когда ко мне приезжали. Он боялся их влияния на меня; а несмотря,

однако, на его предосторожности, я первая с Каташей Трубецкой приехала в Нерчинские рудники».

Она пробудилась ото сна, от странного душевного оцепенения. До сих пор за каждым ее поступком стояла воля родителей или братьев, людей сильных и своеобразных, — теперь в ней очнулась, поднялась, набрала силу, очистилась от всего чужого ее недюжинная натура. Совсем еще юная, она оказалась центром, вокруг которого скрестились интересы многих людей, ей пришлось стать дипломатом, и политиком, и воином, ей пришлось принять на свои хрупкие плечи ответственность и за себя, и за Сергея Григорьевича, и за только что рожденного Николино (имя ласкательное от Николая), и за родителей своих. В ней все росло, все укреплялось чувство более высокое, чем простая привязанность к мужу, в ней росло гражданское чувство, удивление бескорыстием тех, кто вышел на Сенатскую, их обреченность. Позже она сама сформулировала это так:

«Если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и политический бред, все же справедливость требует сказать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслужить уважения соотечественников. Кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество».

В каком бы героическом ореоле ни предстал теперь перед ней подвиг ее мужа, она чувствовала необходимость в собственном поступке, в собственном *подвиге*, она увидела не только нравственную справедливость в решимости последовать за мужем в Сибирь, но и *политический* смысл такого акта. Ее настойчивость уже заставляет задуматься старика Раевского, он даже пишет старшей дочери Екатерине:

«Если бы я знал в Петербурге, что Машенька едет к мужу безвозвратно и едет от любви к мужу, я б и

сам согласился отпустить ее навсегда, погresti ее живую; я бы ее оплакал кровавыми слезами и тем не менее отпустил бы ее».

29 декабря 1826 года, через два дня после вечера у Зинаиды Волконской, Мария Николаевна выехала в Сибирь.

Был поздний вечер, и шел снег, и улицы древнего города стали похожими на строгие черно-белые графюры...

Она покидала Москву «скрепя сердце, но не падая духом». В одиннадцать часов вечера написала она прощальное письмо родным:

«Дорогая, обожаемая матушка, я отправляюсь сию минуту; ночь превосходна, дорога — чудесная... Сестры мои, мои нежные, хорошие, чудесные и совершенные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой».

Княгине Зинаиде передалась нервная возбужденность Волконской, ее прощание с добровольной изгнанницей было патетическим:

«О ты, пришедшая отдохнуть в моей обители! Ты, которую я знала всего три дня и назвала своим другом! Свет твоего образа запечатлелся в душе моей. Ты все еще стоишь перед моими глазами. Твой высокий стан, как великая мысль, встает предо мной, а твои грациозные движения подобны мелодии, которую древние приписывали небесным светилам. Очи твои, волосы и цвет лица — как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как и ее жизнь, носит печать долга и самоотвержения. Ты молода... а между тем твоя прошедшая жизнь навеки оторвана от настоящей; закатилось солнце твое, и далеко не тихий вечер принес тебе темную ночь. Она наступила, словно зима в нашей роди-

не, и еще теплая земля укуталась снегом... Когда-то мой голос был звучен, говорила ты мне, но страдания его заглушили... Но я слышала твои песни: они все еще раздаются в ушах моих и никогда не затихнут, ибо и речи твои, и юность, и взоры одарены звуками, которые отзываются в будущем... Ведь и вся жизнь твоя есть не что иное, как гимн».

Она ехала день и ночь, с небывалой для тех времен скоростью: пять с лишком тысяч верст за двадцать дней!

«Однажды в лесу, — вспоминает Волконская, — я обогнала цепь каторжников; они шли по пояс в снегу, так как зимний путь еще не был проложен; они производили отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой. Я себя спрашивала: «Неужели Сергей такой же истощенный, обросший бородой и с нечесанными волосами?»

Я приехала в Казань вечером; был канун Нового года; меня высадили, не знаю почему, в гостинице; дворянское собрание было на том же дворе, залы его были ярко освещены, и я видела входящие на бал маски. Я говорила себе: «Какая разница! Здесь собираются танцевать, веселиться, а я, я еду в пропасть; для меня все кончено, нет больше ни песен, ни танцев». Это ребячество было простительно в моем возрасте: мне только что минул 21 год. Мои мысли были прерваны появлением чиновника военного губернатора; он меня предупреждал, что я лучше сделаю, если вернусь обратно, так как княгиня Трубецкая, которая проехала раньше, должна была остановиться в Иркутске (ее не пустили дальше), а вещи ее подвергнуты обыску».

Погода испортилась: мела поземка, небо низко на-

двинулось на холмы, над Волгой стояли белые вихри. Хозяин гостиницы посоветовал ей не торопиться — будет метель.

Она все же отправилась. Ветер сбивал лошадей с ног, по степи несло белое курево; натываясь на кибитку, снег забивался в каждую щелочку, между ямщиком и женщинами — Волконская ехала с горничной — выросла целая гора снега. Стало совсем темно. Волконская раскрыла крышку часов, и они прозвонили полночь. Новый год. В первый его день Волконская вступала в пределы Азии, снежная пелена закрывала ее прошлое.

Она писала Вяземской из Красноярска:

«Еще четыре дня, и я буду у цели. Удача сопутствует мне, несмотря на все мои неосторожности. Признаюсь, что я наделала их достаточно, и непростительных; теперь, когда мне осталось свершить лишь одну прогулку до Иркутска, могу Вам рассказать о них. Чтобы сократить путь, я схватила вожжи, которые были плохо сделаны, лед вздувался все время под копытами лошадей; я ведь выбирала среди них самых резвых, чтобы скорее добраться, но когда мы три раза опрокинулись, я излечилась от своего нетерпения; кибитка моя разлетелась вдребезги, целый злосчастный день ее чинили».

В Иркутске она, не читая, подписала все бумаги, все отречения.^х Губернатор велел обыскать и переписать все вещи, прислал для этого чиновников. Те принялись за дело. «Им пришлось переписывать очень мало: немного белья, три платья, семейные портреты и дорожную аптечку; затем они открыли ящик с посылками. Я им сказала, что все это предназначается для моего мужа; тогда мне предъявили к подписи пресловутую подписку, причем они мне сказали, чтобы я сохранила с нее копию, дабы хорошенько ее запомнить.

Когда они вышли, мой человек, прочитавший ее, сказал мне со слезами на глазах: «Княгиня, что вы сделали, прочтите же, что они от вас требуют!» — «Мне все равно, уложимся скорее и поедем».

Ночью при жесточайшем морозе — «слеза замерзала в глазу, дыхание, казалось, леденело» — княгиня переехала Байкал. Потом тайга сменилась песчаной степью, а бесснежная стужа переносится куда труднее. Для скорости она сменила кибитку на перекладных — скорость увеличилась, но примитивные рессоры и не менее примитивная выбитая дорога стала причиной невыносимой тряски, приходилось останавливаться, чтобы спокойно вздохнуть. И это шестьсот верст! На дорожных станциях пусто, никакой пищи, и без того почти ничего не евшая в пути Волконская вынуждена была просто-напросто голодать. Зато в Нерчинском заводе она догнала Трубецкую. И, исполнив формальности, подписав еще одно отречение, отправилась на Благодатский рудник.

Первым порывом Волконской было увидеть мужа. И комендант Нерчинских рудников Бурнашев разрешил ей посетить тюрьму, но лишь в его присутствии.

«Бурнашев предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне: бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого. Бурнашев, стоявший на пороге, не имея возможности войти по недостатку места, был поражен

изъявлением моего уважения и восторга к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обходился, как с каторжником...

Я старалась казаться веселой. Зная, что мой дядя Давыдов находится за перегородкой, я возвысила голос, чтобы он мог меня слышать, и сообщила известия об его жене и детях. По окончании свидания я пошла устроиться в избе, где поместилась Каташа; она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе было ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда».

«На другой день по приезде в Благодатск я встала с рассветом и пошла по деревне, спрашивая о месте, где работает муж. Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю, и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудники; я спросила, можно ли их видеть на работе; этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто вроде факела, и я в сопровождении другого, старшего, решила спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но смертный воздух давил грудь; я шла быстро и услышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который не хотел мне позволить говорить с ссыльными. Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они спустили мне лестницу, я влезла по ней, ее втащили, и, таким образом, я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия из России и передать привезенные мною письма. Му-

жа тут не было, не было ни Оболенского, ни Якубовича, ни Трубецкого; я увидела Давыдова, обоих Борисовых и Артамона Муравьева. Они были в числе первых восьми, высланных из России, и единственных, попавших на Нерчинские заводы. Между тем внизу офицер терял терпение и продолжал меня звать; наконец я спустилась; с тех пор было строго запрещено впускать нас в шахты. Артамон Муравьев назвал эту сцену «моим сошествием в ад».

К удивлению местного начальства и к его неудовольствию, Волконская довольно быстро нашла сочувствующих среди ссыльнокаторжных, среди тех самых людей, о которых было сказано в правительственных бумагах, что они-де на все способны и что власти не берут на себя ответственности за их поведение, ежели им вздумается причинить дамам зло. Ничего, кроме уважения и доброго отношения, не увидели Волконская и Трубецкая от них, более того, отверженные от белого света, люди, совершившие тяжкие преступления, оказались чище и благороднее местных пьяниц-чиновников и офицеров охраны. И деятельная натура Волконской не осталась безучастной. Не без риска для себя, а стало быть, для мужа, она оказывает поддержку беглым, с помощью влиятельных знакомых в Петербурге добивается сокращения сроков наказания и даже освобождения из Сибири кое-кого из каторжан.

Каждый день дамы выполняли свой урок: писали письма. Особенно истово трудилась Волконская: воспитанная в семье, где дети были нежно привязаны к родителям, она, при легкости и пылкости воображения, представляла себе матерей и отцов, жен и детей, ждущих хоть малой весточки из Сибири. И даже в день, когда было много волнений, когда усталость — физическая или душевная — призывала к отдыху, Волконская писала родственникам всех восьмерых за-

ключенных об их житье-бытье, о здоровье, обо всем, что могло пройти сквозь тройную цензуру — Бурнашев, почтовое ведомство, Бенкендорф... Вместе с тем во всем, что касалось официальных предписаний, регламентирующих встречи жен декабристов с мужьями, Волконская была педантично исполнительницей. Она встречалась с мужем лишь два раза в неделю и не делала никаких попыток неофициальных увеличить количество свиданий, ходила в тюрьму только в назначенные дни. Такое послушание усыпляло бдительность местного начальства, а каторжники, которым она помогала, ее не выдавали.

Жизнь была монотонной, размеренной. Изредка удавалось верхом прокатиться по ближним сопкам да распадкам. Случались, впрочем, происшествия, выходящие за рамки повседневности.

«...Произошло событие, — пишет Волконская, — очень нас напугавшее и огорчившее. Господин Рик, горный офицер, которому был поручен надзор за тюрьмою, придумал усугубить тяготы заключенных; он потребовал, чтобы, тотчас по возвращении с работы, вместо того, чтобы вымыться и обедать вместе, они шли каждый в свое отделение и там ели, что будет подано. Кроме того, он из экономии перестал давать им свечи. Остаться же без света с 3 часов пополудни до 7 часов утра зимой в какой-то клетке, где можно было задохнуться, было настоящей пыткой, при всем том он запретил всякие разговоры из одного отделения в другое. Зная, до какой степени тюремщики боятся, чтобы вверенные им арестанты не покушались на свою жизнь, наши сговорились не принимать никакой пищи, дабы напугать Рика. Целый день они ничего не ели; обед и ужин отослали нетронутыми; на второй день — та же история. Рик потерял голову, он немедленно послал доклад о том, будто государственные

преступники в полном возмущении и хотят уморить себя голодом... Я ничего не подозревала, Каташа тоже. Велико было наше удивление, когда мы увидели, что приехал Бурнашев со своей свитой. Они остановились в избе, рядом с нашей; вокруг собрались местные жители. Я спросила у одной из женщин, что все это значило; она мне ответила: «Секретных судить будут». Я увидела мужа и Трубецкого, медленно подходивших под конвоем солдат. Каташа, легко терявшая голову, сказала мне, что у Сергея руки связаны за спиной; этого не было: я знала его привычку так ходить. Затем я вижу, что она подбегает к стоявшему там солдату горного ведомства; потом возвращается с довольным лицом и говорит мне: «Мы можем быть спокойны, ничего не случится, я сейчас спросила у солдата, *приготовили ли розги*, он мне сказал, что нет». — «Каташа, что вы сделали! Мы и допускать не должны подобной мысли». Муж мой приближался; я стала на колени в снегу, умоляя его не горячиться, он мне это обещал».

Декабристы победили, Рик был заменен честным, достойным человеком, уже немолодым, который даже приходил в тюрьму поиграть в шахматы с «князьями». Но любопытно, как в этом эпизоде проявилось различие характеров Трубецкой и Волконской: первая *ждала*, точнее — *допускала возможность* расправы, вторая *ждала*, точнее — *допускала возможность* бунта.

Наверное, это прозвучит странно, и все же в постоянных хлопотах о муже и его товарищах, в изнурительной повседневной обыденности, оживляемой лишь прогулками верхом, в каждодневной переписке с родителями, братьями и сестрами своими, с семьями декабристов Волконская на руднике Благодатском чувствовала себя счастливой. 12 августа 1827 года она писала из Сибири Вере Федоровне Вяземской:

«С тех пор, как я уверена, что не смогу вернуться в Россию, вся борьба прекратилась в моей душе. Я обрела мое первоначальное спокойствие, я могу свободно посвятить себя более страдающему. Я только думаю о той минуте, когда надо мной сжалятся и заключат меня вместе с моим бедным Сергеем; видеть его лишь два раза в неделю очень мучительно; и верьте мне, что счастье найдешь всюду, при любых условиях; оно зависит прежде всего от нашей совести; когда выполняешь свой долг, и выполняешь его с радостью, то обретаешь душевный покой».

«Мы купили две телеги, одну для себя, другую под вещи, и поехали. Я с удовольствием возвращалась по этой дороге, окаймленной теперь красивым лесом и чудными цветами.

Наконец мы приехали в Читу, уставшие, разбитые, и остановились у Александры Муравьевой. Нарышкина и Ентальцева недавно прибыли из России. Мне сейчас же показали тюрьмы, или острог, уже наполненный заключенными: тюрем было три, вроде казарм, окруженных частоколами, высокими, как мачты. Одна тюрьма была довольно большая, другие очень маленькие. Александрина жила против одной из последних, в доме казака, который устроил большое окно из находившегося на чердаке слухового отверстия. Александрина повела меня туда и показывала заключенных, называла мне их по именам по мере того, как они выходили в свой огород. Они ходили, кто с трубкой, кто с заступом, кто с книгой. Я никого из них не знала; они казались спокойными, даже веселыми и были очень опрятно одетыми. В числе их были совсем молодые люди, выглядевшие 18—19-летними.

Наши ходили на работу, но так как в окрестностях не было никаких рудников, — настолько плохо было осведомлено наше правительство о топографии России, предполагая, что они есть по всей Сибири, — то комендант придумал для них другие работы: он заставлял их чистить казенные хлева и конюшни, давно заброшенные, как конюшни Авгиевы мифологических времен. Так было зимой... а когда настало лето, они должны были мести улицы. Мой муж приехал двумя днями позже нас со своими товарищами и с неизбежными их спутниками. Когда улицы были приведены в порядок, комендант придумал для работы ручные мельницы; заключенные должны были смолоть определенное количество муки в день; эта работа, налагаемая как наказание в монастырях, вполне отвечала монастырскому образу их жизни. Так провела большая часть их 15 лет своей юности в заточении, тогда как приговор устанавливал ссылку и каторжные работы, а никак не тюремное заключение.

Мне нужно было искать себе помещение. Нарышкина уже жила с Александриной. Я пригласила к себе Ентальцеву, и, втроем с Каташей, мы заняли одну комнату в доме дьякона...»

Но жизнь готовила княгине новый удар. Судьбе было мало тех кругов ада, что прошла уже молодая женщина, на плечи которой обрушилось столько горя, нравственных пыток, физических испытаний. В 1828 году Мария Николаевна получила известие о смерти сына — Николино.

«Моя добрая Елена, — писала она через год после того, как мальчика не стало, сестре, — я так грустна сегодня. Мне кажется, я чувствую потерю сына с каждым днем все сильнее; я не могу тебе сказать то, что я ощущаю, когда думаю о нашем будущем. Если я умру — что станет с Сергеем, у которого нет никого

на свете, кто интересовался бы им? По крайней мере, не настолько, как это сделал бы его сын».

К тому же распространился ложный слух, что другим женам, которые получили разрешение выехать в Сибирь, когда декабристов уже объединили в Читинском остроге, разрешено взять с собой детей. Слух этот удвоил переживания Волконской, лишь убежденность в том, что она, единственная, связывает теперь мужа своего с жизнью, лишь ее понимание *исторической* миссии, которую предназначено исполнить женам декабристов, придавали ей сил и мужества.

Генерал Раевский обратился к Пушкину с просьбой написать эпитафию, чтобы вырезать ее на мраморном надгробии Николино. И Пушкин исполнил просьбу:

В сияньи, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Мария Николаевна, получив от отца пушкинские стихи, все никак не могла успокоиться. В коротком четверостишии было понимание и ее горя, и ее подвига, и страданий мужа, было оправдание ее перед смертью и жизнью, перед прошлым и будущим.

«Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку. Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится столь многое. Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность».

И в сентябре 1829 года, в письме к брату Николаю:

«В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие, напоминая о себе. Тем не менее скажи обо мне А.(лександр) С.(ергеевичу). По-

ручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти, — выражение его таланта и умения чувствовать».

Обрывались последние нити, таяли последние связи. Словно и в зимние времена, и в теплые дни солнечного забайкальского лета все не уходила из жизни та снежная пелена, что отделила так недавно, а кажется, века назад, ее безмятежное детство и юность изначальную от ранней горькой зрелости.

Быт сибирский стабилизировался: редкие встречи с мужем, получение из России «обозов» с мукой и сахаром, с прочей снедью, с мебелью, вещами, книгами. В тюрьме уже скопилась приличная библиотека; созданная из личных книг декабристов, она была весьма разнообразной. Артель, возникшая на предмет улучшения быта, питания заключенных, сплотила их, нормализовала жизнь в остроге; у каждого появились увлечения — кто занялся огородом, кто мастерил мебель, кто переводил книги — с английского, немецкого, греческого, кто разучивал партии сложных старинных квартетов, ибо появился и небольшой, но высокопрофессиональный музыкальный ансамбль. Но главным, что соединяло декабристов, была их «каторжная академия» — среди них были крупные знатоки военной и политической истории, философии, инженерного дела, литературы, медицины, иностранных языков. Регулярные занятия «каторжной академии» — это был способ не только взаимообогащения, но и способ спасти себя нравственно, не поддаться унынию, сохранить в себе человека.

Однообразие быта начало угнетать Волконскую.

«Я видела Сергея только два раза в неделю; осталь-

ное время я была одна, изолированная от всех, как своим характером, так и обстоятельствами, в которых я находилась. Я проводила время в шитье и чтении до такой степени, что у меня в голове делался хаос, а когда наступали длинные зимние вечера, я проводила целые часы перед свечкой, размышляя — о чем же? — о безнадежности положения, из которого мы никогда не выйдем. Я начинала ходить взад и вперед по комнате, пока предметы, казалось, начинали вертеться вокруг меня и утомление душевное и телесное заставляло валиться меня с ног и делало меня несколько спокойней. Здоровье мое тоже было слабо».

Теперь все силы княгини направлены к новой цели — добиться «соединения с мужем». Она просится в острог. В письмах к матери Волконского, в письмах к отцу она просит ходатайствовать об этом перед царем. «Мы еще узнаем счастье, соединение с Сергеем волеет в меня новую жизнь».

И наконец «всемиловитое» разрешение было получено.

«Горячо обожаемый папа, вот уже три дня, как я получила позволение соединиться с Сергеем...» «Спокойствие, которое я ощущаю с тех пор, как забочусь о Сергее и разделяю с ним дни вне часов его работы, с тех пор, как у меня есть надежда разделять целиком его судьбу, дает мне душевное спокойствие и счастье, которое я утратила уже давно».

Увы, счастье это было коротким: в сентябре 1829 года в своем имении Болтышка в Киевской губернии скончался генерал Николай Николаевич Раевский. Уходя из мира сего, он обвел глазами семью свою, собравшуюся к его постели в грустную минуту, и, оставив взгляд на портрете Машеньки, произнес:

«Вот самая удивительная женщина, какую я когда-либо знал!»

В читинском остроге в том же, 1829 году родилась у Волконских дочь. Она прожила несколько часов.

В Петровский завод декабристы шли пешком. Комендант Нерчинских рудников Станислав Романович Лепарский был человеком сравнительно либеральным: исполняя царскую службу, он все же понимал, что у многих его подопечных остались близ правительства родственники и друзья, тайно сочувствующие декабристам, кто знает, от какого случайного словца, к месту сказанного, может перемениться и твоя судьба. Сверх того генерал понимал, что, приняв на себя власть над «друзьями 14 декабря», ступил он за такую межу, где простирается слово «вечность», — вступать в нее с клеймом сатрапа — позорить свой род в веках.

Немалую роль в подобного рода размышлениях генерала сыграли дамы. Чуть что, они бомбардировали письмами графа Бенкендорфа, причем не стеснялись в описании картин жизни изгнанников. Письма их создавали общественное мнение, с которым вынужден был считаться и сам император.

Петровская тюрьма была построена в виде вытянутой буквы П, с темными камерами, свет в которые проникал сквозь окошечко над дверью, из полутемного коридора. «Бедных узников, и без того преданных столь суровому наказанию, задумали к тому же и ослепить», — писали женщины родным и друзьям, всей России, ибо письма шли через руки чиновников, а стало быть, становились поводом для разговоров, кроме того, письма шли другими, порой неизвестными правительству путями. Узники, чьи имена хотел Николай I стереть из памяти народной, были у всех на устах, жестокость царская выходила наружу.

В камерах прорубили окна!

Правда, под самым потолком, малюсенькие. Но прорубили.

Женам было разрешено жить вместе с мужьями в тюрьме.

«Каждая из нас, — пишет Волконская, — устроила свою тюрьму по возможности лучше, в нашем номере я обтянула стены шелковой материей (мои бывшие занавески, присланные из Петербурга). У меня было пианино, шкаф с книгами, два диванчика, словом, было почти что нарядно».

При содействии Лепарского вскоре семейным решили бывать дома — у их жен были собственные жилища, купленные у крестьян.

Жизнь начинала налаживаться вот уже в третьем месте Сибири.

В 1832 году родился у Волконских сын. Назвали его Михаилом.

«Рождение этого ребенка, — писала Мария Николаевна матери, — благословение неба в моей жизни; это новое существование для меня. Нужно знать, что представляло мое прошлое в Чите, чтобы оценить все счастье, которым я наслаждаюсь... А теперь — все радость и счастье в доме. Веселые крики этого маленького ангела внушают желание жить и надеяться».

«Каземат понемногу пустел; заключенных увозили, по наступлении срока каждого, и расселяли по обширной Сибири. Эта жизнь без семьи, без друзей, без всякого общества была тяжелее их первоначального заключения.

Наконец настала и наша очередь, Вольф, Никита и Александр Муравьевы и мы выезжали один за другим, чтобы не оставаться без лошадей на станциях.

Муж заранее просил, чтобы поселили его вместе с Вольфом, доктором и старым его товарищем по службе, я этим очень дорожила, желая пользоваться советами этого прекрасного врача для своих детей; о месте же, куда нас забросит судьба, мы несколько не беспокоились... Нас поселили в окрестностях Иркутска, столицы Восточной Сибири, в Урике, селе довольно унылом, но со сносным климатом, мне же все казалось хорошо, лишь бы иметь для детей моих медицинскую помощь на случай надобности».

Все дома попримечнее были сняты уже, и Волконские поселились поначалу в деревне Усть-Куда, в восьми верстах от Урика, у свойственника Марии Николаевны — Поджио. Вскоре, однако, их дом в Урике был построен, и они смогли соединиться с остальными.

«Свобод» у поселенцев было немного — мужчинам разрешалось гулять и охотиться в окрестностях села, а женщины могли иногда съездить в город за покупками. Родные Волконских присылали чай, кофе, «всякого рода провизию, как равно и одежду», чтобы поддерживать их существование. В письмах Волконского этого времени бесконечные просьбы о детских костюмчиках, чулочках, башмаках для сынишки Михаила и дочери Елены, которую родители и друзья их звали Нелли.

Близость города как-то оживила Марию Николаевну, вселила в нее надежду, хотя романтическое начало все более в характере ее заменялось трезвостью ума, желанием вопреки всему вернуть детям максимально возможное из того, что потеряла сама. Жизнь была неласкова к ней, мало радостей выпало на долю этой женщины, она стала жестковатой, властной, присущая ее отцу и брату Александру, проступила и в ней. Сергей Григорьевич был ее полной противопо-

ложностью, сохранив ненависть к императорской власти, к рабству, к произволу, не потускневшую, а укрепившуюся с годами, в общении с друзьями стал он малоразговорчив, занялся хлебопашеством и огородом, к чему пристрастился еще в читинском остроге, он порой неуютно чувствовал себя в дворянском салоне своей жены.

«Старик Волконский, — пишет Белоголовый, — ему уже тогда было около 60 лет, слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатым прошедшим, преобразился в хлопотливого и практичного хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работе в поле, а зимой любимым его времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди пригородных крестьян и любил с ними потолковать по душе об их нуждах, о ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки».

Распространился слух, что у декабристов будут забирать детей. Женщины всполошились.

Слух был не случайным: дабы искоренить даже память о государственных преступниках, был придуман ход — каждая семья могла отдать детей в обучение в императорские училища и пансионы, но с условием, что дети переменят фамилию и будут называться по отчеству — скажем, дети Волконских — Сергеевыми.

Отцы и матери, которые, конечно же, хотели лучшей участи своим детям, не согласились на такое унижение, на такую бесчеловечность, государева «милость» не вызвала в них энтузиазма.

Дети Волконских подрастали. Нужно было их учить. Мария Николаевна получает разрешение поселиться в Иркутске, Волконский остается в Урике.

Ему было разрешено посещать семью два раза в неделю.

В 1841 году в Урике был арестован декабрист М. С. Лунин. Он был отправлен в самую страшную тюрьму Сибири — Акатуй, потому что этот попранный жестокостью Николая I человек бросил вызов императору: в письмах сестре своей он открыто издевался над царствованием Николая, анализировал его деятельность и деятельность правительственных учреждений.

И снова, как всегда в решительные минуты, проявилась отвага Марии Николаевны Волконской, ее недюжинные способности конспиратора. Она вступает в тайную переписку с Луниным, поддерживает его добрым, дружеским словом.

Уже близилась амнистия, но никто из декабристов пока и предположить не мог этого. Более того, в сознании не только Волконской, но и всех остальных ссылка уже представлялась вечной.

«Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через пять лет, затем я себе говорила, что будет через десять, потом через пятнадцать, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей».

Мария Николаевна покинула Иркутск в 1855 году. Через год, уже после амнистии, за ней последовал Сергей Григорьевич.

В том, как пришел манифест об освобождении декабристов в Иркутск, есть любопытная деталь.

Николай I, как и все русские цари, любил устраивать представления. Скажем, он составил сценарий mesti своей декабристам: сперва такое решение суда — пятерых внеразрядных четвертовать, осужденных по первому разряду — казнить, остальных сослать в вечную каторгу. Так и было объявлено его «друзьям 14 декабря». И тут, делая вид, что жестокость сия принадлежит не ему, а справедливому Верховному уголовному суду, он «являет милость» — пятерых повесить, первый разряд — пожизненная каторга и так далее... Александр II тоже был не чужд таких представлений на всю страну. Узнав от Муравьева-Амурского, что в Петербурге находится сын Волконских, которого генерал-губернатор иркутский взял к себе на службу в качестве чиновника особых поручений, император немедленно оценил ситуацию: в Сибири еще нет телеграфа, стало быть, надо с манифестом послать гонца. Но обычный посланный царя есть просто служащий, казенный человек. А вот сын государственно-преступника, родившийся в тюрьме и везущий теперь освобождение отцу, матери и тем, кто еще уцелел после тридцатилетнего пребывания в Сибири, — это театр!

И летит молодой человек на государственной тройке через всю Россию за Урал, всюду его встречают с восторгом, перед стечением народа читает он громко и взволнованно слова манифеста:

«Подвергшимся разным за политические преступления наказаниям и доныне еще не получившим прощения, но по изъявленному ими раскаянию и безукоризненному поведению... даровать на основании особых поставленных для этого правил: одним облегчения — более или менее значительные, в самом месте их ссыл-

ки, другим же — освобождение от оной... а некоторым и дозволение жить, где пожелают, за исключением только С.-Петербурга и Москвы...»

Летит Михаил Волконский на крыльях, устраивает летучие митинги, голос его при чтении манифеста слышится от волнения...

Нет, в умении ставить спектакли царю не отказать!

И только в Иркутске происходит некоторый конфуз, как бывает на представлении, когда исполнитель вслед за суфлером произносит не только текст пьесы, но и авторские ремарки.

24 октября 1856 года в генерал-губернаторскую канцелярию собирались ссыльные. Были здесь и декабристы, съехавшиеся из пригородных деревень, и те, что жили в стольном Иркутске. Были и польские повстанцы... Замещавший генерал-губернатора председатель казенной палаты П. Какуев читал указ и после имени каждого, на главу которого снисходила благодать по милости императора, видимо, не уразумев, что не все нужно произносить вслух, после объявления каждой милости произносил: «быть под надзором», «быть под наблюдением», «быть под присмотром» начальства.

Декабристы Трубецкой, Бечасный и Дружинин в письменной форме подали протест. Финал спектакля был сорван.

«Полярная звезда», издаваемая Герценом и Огаревым за границей, писала о манифесте:

«Не хватило великодуший дать амнистию просто, без оговорок, а прощаются они с разными уловками насчет раскаяния, поведения, да еще на основании особых правил... надо, по крайней мере, 25 лет ссылки, чтобы русский император мог почти простить политического преступника... правительство может быть уверено, что прощает старика незадолго до смерти».



Александра Григорьевна МУРАВЬЕВА

На днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное, возвышенное отречение. Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о Славе, а увлекается, поглощается одним чувством тихим, но всеобъемлющим.

П. А. Вяземский

Бесснежный февраль заледенил землю, но копыта пробивали спекшийся от мороза песок, ветер подхватывал его, разматывал в острые струйки, бросая

в лицо. Пришлось закрыться от ветра и уже не смотреть на бесконечную однообразную дорогу, петляющую среди сопок. Ветер бросал пригоршнями песок на полог, и Александре Григорьевне чудилось, что кто-то настойчиво и вкрадчиво скребется в кибитку, что вот-вот, отбросив осторожность, он рванет со всей силой, и тогда...

— Еге-гей, что же вы, соколики!.. — понукал лошадей ямщик, но они и сами, видимо почуяв жилье, рванули, полетели, взбрыкивая и похрапывая, и словно скорость, с которой неслась теперь кибитка по чужой незнакомой стороне, помогла уйти от ветра и от песка: на бритоголовых каторжных сопках появился вдруг лес, он все загустевал, графичность берез сменялась в нем тяжелой зеленью заматеревших сосен, в их сетях запутался ветер, зарылся в чащу и смолк. А навстречу уже вышли крутые скаты, засыпанные снегом, наветренная сторона сохранила его, должно быть, с начала зимы или с метельного января; справа забелела ноздреватым льдом, оцетинившаяся торосами, прижатыми к высокому берегу, река, а дорога свернула вверх, к деревушке, стоящей на юру. За пряслом, отделившим обетованный уголок этот от дикого мира, от леса, от сопок, виднелись приземистые домики, кудрявились дымы, трепетал на деревянной башенке, возвышающейся справа, флаг; на острых двускатных крышах снега не было, и они чернели среди белого мира, подчеркивая стылую бледность неба.

— Ну, усё, — сказал ямщик. — Вона она — Чита... Острог етот...

Въехали в улицу и затормозили у частокола — за ним была тюрьма, за ним томился сейчас Никита, еще не зная, что она уже здесь, что она прилетела сквозь страшную даль, чтобы увидеть его, чтобы обнять его, разделить его судьбу немилосердную.



Слева, у плотного бревенчатого дома темнел полосатый столб, от него начиналась низенькая оградка — в две тоже полосатые жерди, держащихся на вкопанных в землю низеньких опорах, на столбе покачивался шестигранный фонарь, а под ним стоял караульный в темном полушубке, приставив к ноге винтовку.

На лице солдата отразилось удивление, когда на землю спрыгнула невиданная барыня, а не обросший, звенящий цепями каторжник, и это удивление жило на лице его еще долго — и когда Муравьева чуть прыгала, разминаясь после утомительной дороги, и когда спросила у него, как найти господина коменданта.

Лепарский принял ее в казенном помещении гауптвахты. Он вышел из-за стола, провел машинально рукой по волосам, пригладив вихор на правом виске. Он улыбался, но улыбка эта была какой-то странной, испуганной, что ли, словно он говорил про себя: «Ну вот, началось!»

Он уже знал, что за государственными преступниками едут их жены, и ничего хорошего в их героическом самопожертвовании для себя лично не видел: теперь вся его жизнь была как бы подконтрольна им — их за частокोल не упрячешь.

Улыбка погасла. Уже довольно официально генерал предложил Муравьевой сесть, и, пока он рассматривал ее подорожную, в кабинете было тихо, и тишина эта была как натянутый полог кибитки, в который вот-вот ударит ветер.

— Я сожалею... — он сделал паузу, — мадам Муравьева, что не могу вам разрешить сейчас же видеть мужа, прежде вы должны будете подписать бумагу...

— Как, еще одну?! Я ведь уж подписала в Иркутске эти суровые параграфы. Неужто что-нибудь еще осталось, от чего можно отказаться?

Генерал Лепарский ничего ей не ответил, молча протянул ей лист:

«Обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе, как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера; не говорить с ним ничего излишнего, и паче чего-либо не принадлежащего, вообще же иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке».

— Генерал, согласитесь, что это бесчеловечно... За чем же я спешила в эту глухомань? Чтобы и здесь жить розно с мужем?

— Не нам, мадам, обсуждать установления, данные свыше; поверьте, бумагу сию придумал не я. Что же касается ваших слов энергических по поводу высочайшей воли, уговоримся, что я их не слышал. Ваш муж болен, сударыня. Я разрешу вам свидание сегодня...

— Сейчас! Как можно скорее, генерал! — воскликнула Муравьева. — Что с ним?

— Остыл, видимо...

Генерал вызвал офицера. Пока Муравьева дочитывала «отречения», тот сходил куда-то, вернулся и сказал, что уже можно, что прочие государственные преступники на время свидания переведены в другую часть тюрьмы...

...Под конвоем провели ее по пустому тюремному двору, вошли в тесную прихожую, солдат и унтер-офицер остановились у дверей, а дежурный, тот самый, что сказал генералу Лепарскому «уже можно», растворил перед ней эту дверь, и она шагнула в полутьму. Никита Михайлович рванулся ей навстречу, звякнули цепи его, и звон этот охватил ее, ударил в сердце, потом осыпался, точно песок, что бился в поллог ее кибитки.

У Никиты Михайловича был жар, она чувствовала это, когда прикасалась губами ко лбу его, волнение ее усилилось, нежность ее была так велика, что она позабыла об офицере, нескромном казенном соглядатае их встречи, она целовала мужа, и слезы — ее слезы — текли по его щекам.

— Пора! — сказал офицер. И это было так вдруг, так неожиданно, как удар, ей казалось, что время остановилось, а оно летело, и мерой его были не часы, а человек в офицерской шинели, которому дано было чьей-то роковой силой решать, что долго, что коротко.

Никита Михайлович обнял жену, снова зазвенели цепи — на сей раз обреченно. Он почувствовал, что жена ищет руку его, и тут он понял, в чем дело, ощущение в руке туго свернутую бумагу.

Он развернул листок уже в камере, едва ушла жена, развернул торопливо, уже ощущая, что это привет оттуда, из России, которую ему вряд ли суждено увидеть.

Почерк был ему знаком: летящий, пронзительный, взвихренный метельным окончанием слов, строк, ошибиться было невозможно:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит радость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в наши каторжные норы
Доходит мой свободный глас...

Генералу Лепарскому доложили о странном оживлении, между заключенными возникшем. Он приписал его появлению Муравьевой, привезенным ею новостям...

Дежурный офицер заверил его, что режим свидания никоим образом нарушен не был...

«Заговорив о своих подругах, я должна вам сказать, что к Александрине Муравьевой я была привязана больше всех: у нее было горячее сердце, благородство проявлялось в каждом поступке; восторгаясь мужем, она его боготворила и хотела, чтобы мы к нему относились так же. Никита Муравьев был человек холодный, серьезный — человек кабинетный и никак не жилого дела; вполне уважая его, мы, однако же, не разделяли ее восторженности».

Так писала в своих «Записках» Волконская. Можно согласиться с ней в ее рассуждениях о некоторой «кабинетности» характера Никиты Муравьева — он был прирожденный ученый, историк, и, сложись судьба его иначе, он, должно быть, занял бы одно из самых видных мест в династии летописцев России. Но холодным характер его показался Волконской, возможно, потому, что у Никиты Муравьева отсутствовала внешняя аффектация, порывистость, он был человеком самоуглубленным, все взрывы происходили в глубинах его души, почти не выплескиваясь наружу. Тем страшнее эти, «незримые миру», взрывы для самой души, ибо невзгода, поверенная кому-либо, разделенная с кем-нибудь, уже полневзгоды.

Через много лет Волконской возразит правнучка Муравьева — А. Бибикова:

«Не увлекающееся воображение, восторженность и горячие речи привлекли Никиту Михайловича в кру-

жок блестящей светской, по большей части богатой молодежи, которую давил окружающий мрак, не смогла равнодушно пройти мимо стольких страданий и положившей душу свою за други своя. Но, с другой стороны, и не холодные выкладки, и не логические рассуждения привели его в «Северный союз», это был естественный результат и семейной обстановки, и разговоров людей, среди которых он вырос. Он не мог иначе думать, не мог иначе говорить, и как честный и благородный человек не мог не бороться за то, что считал своим долгом и единой правдой. Никита Михайлович родился и вырос в семье, где Карамзин, Жуковский, Н. И. Тургенев были лучшими друзьями и постоянными посетителями. Не мог не оказать большого влияния на него и отец его, Михаил Никитич Муравьев, ученый, страстный библиофил, поэт и царедворец, впоследствии государственный деятель... Перу Михаила Никитича принадлежат многие труды по отечественной истории и географии; что же касается его философии, то это была философия Руссо, перед которой он преклонялся... Правда, эта философия Руссо, заставившая почтенного сенатора отпустить на волю своих крепостных, не помешала ему быть государственным деятелем, товарищем министра народного просвещения, веселым и милым светским человеком; но та же философия, пересаженная в душу сына, привела последнего к каторге и ссылке».

Либерализм, столь популярный в семье Муравьевых, был благодатной почвой не только для посевов Руссо, в душе молодого Никиты Муравьева дали всходы идеи французской революции, единство народное в войне с Наполеоном, разочарование в итогах победы, не принесших облегчения народу, будоражащая лирика Пушкина, знакомство с передовыми русскими и западными политическими идеями.

Не случайно он, так почитавший друга их семьи Карамзина, высказал резкие замечания в адрес великого писателя и историка, доктрина которого была выражена такой фразой: «История народа принадлежит царю». «Нет, — говорил молодой Муравьев, — история народа принадлежит народу». И затем в мудрой прокламации, построенной в виде вопросов и ответов, дабы легче могли усвоить истину малограмотные нижние чины и неграмотные вовсе солдаты, он разовьет эту мысль и назовет прокламацию «Любопытный разговор»:

Вопрос: Что значит Государь Самодержавный?

Ответ: Государь *Самодержавный* или *Самовластный* тот, который Сам по себе держит землю, не признает власти рассудка, законов божьих и человеческих; сам от себя, то есть без причины, по прихоти своей, властвует.

Вопрос: Не могут ли быть постоянные Законы при самодержавии?

Ответ: Самодержавие или Самовластие их не терпит; для него нужен Беспорядок и всегдашние перемены.

Вопрос: Почему же Самовластие не терпит Законов?

Ответ: Потому, что Государь властен делать все, что захочет. Сегодня ему вздумается одно, завтра другое, а до пользы нашей ему дела мало, оттого и пословица: «Близ царя, близ смерти».

На столе у Николая I лежала «Роспись государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного Суда осуждаемым к разным казням и наказаниям». В «Росписи» значился и Никита Муравьев:

«Капитан Никита Муравьев. Участвовал в умысле на цареубийство изъявлением согласия в двух особенных случаях в 1817 и в 1820 году; и хотя впоследствии

и изменил в сем отношении свой образ мыслей, однако ж предполагал изгнание императорской фамилии; участвовал вместе с другими в учреждении и управлении тайного общества и составлении планов и конституции».

Да, весьма далеко ушел Никита Муравьев от вдохновенных, но сентиментальных проповедей Жан-Жака Руссо. В муравьевской конституции между другими были и такие параграфы:

1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.

2. Источник *Верховной власти* есть народ, которому принадлежит исключительное право делать *основные постановления* для самого себя.

. : :
12. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться законам и властям отечества и явиться на защиту Родины, когда потребует того закон.

13. Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным. Разделение между благородными и простолюдинами не принимается...

.
24. Земли помещиков остаются за ними.

В этом документе все — и сила и слабость замыслов героев 14 декабря: освобождение крестьян без земли!

Так документы проясняют нам и образ самого Никиты Муравьева, и образ его мыслей.

Его дочь, Софья Никитична Бибикова, вспоминает о нем:

«К величайшему моему счастью, личность моего отца так светла и чиста, что мне не придется скрывать

ни единого пятнышка. Все его действия, слова, побуждения были прямы, светлы, и двигателями его были любовь... к Родине, к правде и к ближнему. Он всегда, до конца готов был пожертвовать и своей жизнью и даже детьми своими за святость своих убеждений».

«Четырнадцатое декабря жестоким ударом поразило семью Муравьевых. Семь членов ее было арестовано: Никита Михайлович и младший брат его Александр, корнет кавалергардского полка, Сергей, Матвей и Ипполит Ивановичи Муравьевы-Апостолы, Артамон Захарович Муравьев и Александр Николаевич Муравьев. Началось следствие. Ипполит Иванович застрелился еще под Белой Церковью, Сергей Иванович был повешен, Никита Михайлович приговорен к повешению, но в последнюю минуту помилован и сослан на каторжные работы.

Несчастливая Екатерина Федоровна Муравьева сразу потеряла обоих сыновей. Она чуть с ума не сошла от горя и целые дни и ночи молилась. От долгого стояния на коленях у нее на них образовались мозоли, так что она не могла ходить и совершенно ослепла от слез», — рассказывает правнучка декабриста А. Биикова.

Для Александры Григорьевны Муравьевой удар этот был столь же неожидан, как и для прочих жен декабристов. И дело не только в высокой секретности заговора: мужья считали жен не способными понять и разделить их мысли — о будущем земли российской, о ее тогдашнем политическом и социальном тупике, о безнравственности крепостного права, самодержавия, о забитости талантливого, обреченного на мрак и невежество народа.

Но уже звучат колокола, но уже летят по дорогам российским тройки с жандармами, но уже вырывают из семейных уз, из объятий жен и детей «государственных преступников», и приходит время подвига русских женщин, чьи судьбы вспыхнут на фоне николаевской ночи, окутывающей страну, и вечными факелами останутся сиять во мраке.

Никиту Муравьева взяли в далеком орловском имении, в деревне. Он упал на колени перед онемевшей женой, объяснил ей, пораженной, свое участие в заговоре против императора, и фельдъегерь, как черный ангел, увел его по аллее, к воротам, к дороге, на которой лениво отфыркивались лошади, тройкой запряженные в казенную карету.

25 декабря 1825 года, через одиннадцать дней после возмущения на Сенатской, Никита Муравьев был заключен в Петропавловскую крепость. Оставив троих детей на руках родственников, вслед за ним выехала в Петербург Александра Григорьевна.

Ей было только за двадцать. Графиня, дочь несметно богатых родителей, золотоволосая красавица, воспитанная, образованная, обладающая тонкостью вкуса и суждений, она, казалось, родилась для счастья и для того, чтобы одарять им всех, на ком остановит взор свой. С первой минуты, как увидела она Никиту Муравьева, с первого их свидания и с первого поцелуя, хранила она в сердце радостное ощущение непреходящей влюбленности, которую не поубавили ни разлуки, связанные с военной судьбой мужа, ни несколько лет совместной жизни, ни дети — их было уже трое — сын Михаил, названный так в честь деда, и две дочери — Лиза и Катя. Теперь в сердце ее текли как бы две реки — все та же река нежности, чистая

и солнечная, а рядом с ней — взвихренная, темная река тревоги, страха, неизвестности.

...В Петербурге ей открылось все: и подробности событий 14 декабря, и участие в заговоре Никиты, и то, что он и его брат Александр и двоюродные братья Никиты, Муравьевы-Апостолы, и ее, Александры Григорьевны, брат Захар Григорьевич Чернышев, и двоюродные — Лунин и Вадковский тоже уже взяты «в железы», заключены в крепости, отвечают на вопросы следственной комиссии и судьба их ожидает немилосердная.

Каждый день из-за каменных стен Петропавловки, из объятых мрачной тишиной Зимнего дворца просачиваются слухи. Петербург оторопел, сдунуло, как пену с пивной кружки, его легкомысленное столичное веселье, собираясь в гостиных, шептались; передавая новости, крестились: господа, что-то будет?!

Через десять дней после ареста Никита Муравьев получил с воли сверток. Это был портрет Александры Григорьевны, сделанный Петром Федоровичем Соколовым, тонким рисовальщиком, чье вдохновение оставило нам грустный облик молодой женщины, с лицом добрым и нежным, она сидит к нам вполоборота, глаза ее пытаются рассмотреть будущее, с губ готово слететь слово, предназначенное мужу, на крупные локоны накинута небрежно легкий дымчатый коричневый шарф, он ниспадает на плечо, подчеркивая чистый овал прекрасного лица.

Никита Михайлович писал жене из крепости:

«Я целый день занят, а время от времени даю себе отдых, целую твой портрет».

Он был занят... Его труд был непрост и напряжен: он отвечал на хитро поставленные следственной комиссией вопросы — они выявляли, что императору многое доподлинно известно, но не приоткрывали,

с другой стороны, границу этого знания. На белых листах протокола писал он историю российскую, и каждый лист, унесенный комендантом Петропавловской крепости Сукиным за стены ее, отнимал частицу надежды.

«В минуты наибольшей подавленности мне достаточно взглянуть на твой портрет, и это меня поддерживает... Время от времени я беру твой портрет и беседую с ним. Я очень благодарен тебе за то, что ты мне его прислала; он доставляет мне за день не одну приятную минуту и переносит меня в ту пору, когда я не знал горя. Вот как все меняется, дружок».

Александра Григорьевна добивается свидания с мужем. Увидев его в странной тюремной одежде, с кандалами, звякающими при каждом движении, с нездоровым, от малого количества воздуха и света в камере, цветом лица, она приходит в отчаяние, в душе ее рождается убежденность в безнадежности, безвозвратности происшедшего, но растет чувство веры в мужа, в правоту его дела. Вот с чем отправляется она в Сибирь, следом за ним, добившись с помощью родителей своих и родственников мужа разрешения на дальнюю поездку, с болью оторвав от сердца детей, уже ощущая стену вечности между собой и малютками.

На первой от Петербурга станции Никиту Муравьева, отправленного из крепости тайком — он ехал вместе с братом Александром, Иваном Анненковым и моряком Константином Торсоном в сопровождении лихимца фельдъегеря Желдыбина, — ждала неожиданность. Едва лошади притормозили у станции, появились из полутьмы две фигуры. Муравьев не поверил сперва: такой тайной был обставлен отъезд, что вряд ли родные могли знать о нем, все походило на мираж, на сказку. И все же это были они — мать его, Екатерина Федоровна, с распухшим от слез таким родным

и добрым лицом, и жена. Мать благословила сына, а жена, плача и смеясь, сказала:

— Я люблю тебя, Ника! Я — следом за тобой. Слышишь? Я — следом за тобой!

Уже отправилась из Иркутска за Байкал Трубецкая. У Волконской только что произвели обыск, переписали все вещи, оставили ей лишь самое необходимое, остальное забрали в казну. Обшарили каждый ящик, каждый чемодан, пересчитали деньги.

«Приведя в порядок вещи, разбросанные чиновниками, и приказав вновь все уложить, я вспомнила, что мне нужна подорожная. Губернатор после данной мною подписки не достаивал меня своим посещением, приходилось мне ожидать в его передней. Я пошла к нему...

По возвращении домой я нашла у себя Александру Муравьеву, она только что приехала; выехав несколькими часами ранее ее, я опередила ее на 8 дней. Мы напились чаю, то смеясь, то плача; был повод и к тому и к другому: нас окружали те же вызывающие смех чиновники, вернувшиеся для осмотра вещей».

Теперь тот же круг предстояло пройти и Муравьевой. И подписание «отречений», и заигрывание, а затем — резкое охлаждение губернатора, и обыск...

Более всего боялась она, что найдут письма, стихи Пушкина, его послание друзьям, в Сибирь...

...Александра Григорьевна писала мужу, когда вошел Пушкин, непривычно сдержанный, даже суровый. Она отложила перо, порывисто протянула руку. Он поцеловал ее пальцы и так сжал их, что они онемели, и Муравьева долго еще после того, как ушел Пушкин, не могла вернуться к письму...

За Байкалом пути Трубецкой, Волконской и Муравьевой разошлись. Ей предстояло ехать в Читу.

«Во время оно, — вспоминает в письме к П. Г. Долгоруковой Пущин, — я встречал Александру Григорьевну в свете, потом видел ее за Байкалом. Тут она явилась мне существом, разрешающим великолепно новую, трудную задачу. В делах любви и дружбы она не знала невозможного: все было ей легко, а видеть ее была истинная отрада.

Вслед за мужем она поехала в Сибирь. Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в отношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную ее прелесть. Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить — придавала бодрость другим. Для мужа была неусыпным ангелом-хранителем и даже нянькою.

С подругами изгнания с первой встречи стала на самую короткую ногу и тотчас разменялись прозвищами. Нарышкину называли Лизхен, Трубецкую — Калей, Фонвизину — Визинькой, а ее звали Мурашкою. Эти мелочи, в сущности, ничего не значат, но определяют близость и некоторым образом обрисовывают взаимные непринужденные отношения между ними, где была полная доверенность друг к другу...

Помню тот день, когда Александра Григорьевна через решетку отдала мне стихи Пушкина. Эти стихи она привезла с собой. Теперь они напечатаны. Воспоминание поэта — товарища лица точно озарило заточение, как он сам говорил, и мне отрадно было быть обязанным Александре Григорьевне за эту утешительную минуту».

Пушкин вернулся к этому эпизоду читинской жизни в знаменитых своих «Записках о Пушкине»:

«Я осужден, 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился, наконец, с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог.

Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестной рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил;
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.

(Псков, 13 декабря 1826 г.)

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не смог объять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнание. Увы! Я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужно-го, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.

Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного

своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла, наконец, исполнить порученное поэтом».

Вместе с Никитой Муравьевым томились в читинской тюрьме его брат — Александр и родной брат Александры Григорьевны — Захар Григорьевич Чернышев. Красивый, отлично образованный, умный — всех мер светский молодой человек, он пользовался успехом в обществе, во всяком случае, был человеком приметным. Он поступил на службу в кавалергардский полк и вскоре стал членом тайного общества, хотя заговорщиком был весьма пассивным. К тому же его не было в Петербурге 14 декабря. И все же Верховный уголовный суд приговорил его к каторге. Александр Муравьев объяснил это так:

«Граф Захар Чернышев был осужден только потому, что его судья был его однофамильцем. Дед графа Захара основал значительный майорат (недвижимое имение, закрепленное специальным правительственным актом, неотчуждаемое и нераздельное, переходящее по наследству в порядке первородства. — М. С.), и генерал Чернышев, член (следственной) комиссии, без малейшей связи с фельдмаршалом, основателем майората, имел бесстыдство претендовать на овладение имуществом семьи, которая была ему во всех отношениях чужой».

Весь либеральный Петербург понимал незаконность претензий генерала Чернышева на майорат и незаконность приговора Захару Григорьевичу. Шли толки, кипело возмущение. А Захар Григорьевич тем временем сидел в читинской тюрьме, закованный в кандалы. Вот уж поистине: «А судьи кто?!»

Юная графиня Евдокия Растопчина, пятнадцати-

летняя девушка, со временем ставшая известной поэтессой пушкинской плеяды, написала стихотворение, посвященное декабристам и опубликованное только через сто лет — в 1925 году:

Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И рабства иго снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой...

Через много лет, уже известной поэтессой, встретит Евдокия Растопчина Захара Григорьевича Чернышева, отбывшего сибирскую каторгу и ссылку, отслужившего солдатом на Кавказе и храбростью вернувшего себе офицерский чин. И она подарит декабристу стихотворение с душевной надписью: «Захару Григорьевичу Чернышеву, в знак особого уважения, от граф. Евдокии Растопчиной».

А пока Захар Григорьевич томится в читинской тюрьме. Рядом, у самого частокола почти, — дом его сестры. Однако видеться с ним ей категорически запрещено. Она поднималась на чердак своего дома, разглядывала двор расположенной через улицу тюрьмы, она пыталась увидеть его во время выхода декабристов на работу. Целый год жили они в небольшой этой деревушке Чите, страдали, томились, и только перед тем, как Захару Григорьевичу уезжать из Забайкалья — закончился срок его каторги, он выходил на поселение, — брату и сестре разрешили проститься. Мария Николаевна Волконская одной фразой нарисовала тяжесть этой встречи-разлуки:

«Прощание Александрины с братом было раздирающим».

А сама Муравьева писала свекрови:

«Я имела счастье видеться с братом перед его отъ-

ездом, но трудно сказать, было ли это хорошо для меня или плохо, так как мысль, что я, быть может, никогда больше его не увижу, сделала для меня свидание очень мучительным».

Предчувствие ее не обмануло.

Ее чувствительной натуре все было больно: и видеть мужа мимоходом, когда его ведут на работу, а она пораньше выходит открывать ставни — Муравьева специально сняла квартиру против тюрьмы, дорожа каждым таким, отпущенным судьбой мгновением, — и думать о детях, покинутых вдалеке. Дети — была ее главная боль.

«Наша милая Александра Григорьевна, с добрейшим сердцем, юная, прекрасная лицом, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышевых, — пишет декабрист А. Е. Розен, — разрывала жизнь свою сожигающим чувством любви к присутствующему мужу и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной».

Всегда веселая и спокойная на свиданиях с мужем, она в одиночестве своем жестоко мучилась и тосковала по оставленным в России детям, — вторит Розену А. Бибикова. — Несчастливая мать не обманывалась в своих горестных предчувствиях: через год после ее отъезда умер ее единственный сын, а дочери вдали от матери, лишенные ее забот, обе тяжело заболели. Одна умерла совсем юной, другая не вынесла тяжелого горя, висевшего мрачным покровом над осиротевшим домом, почти монашеского затворничества с ослепшей, убитой горем бабкой, тоски и постоянного ожиданий свидания с любимой матерью и сошла с ума.

Никогда ни единым словом не проговорилась Александра Григорьевна мужу о своем горе».

«Она всякий раз была счастлива, — вспоминает декабрист И. Д. Якушкин, — когда могла говорить о своих детях, оставшихся в Петербурге... Мужа своего она обожала. Один раз на мой вопрос, в шутку, кого она более любит — мужа или бога, она мне отвечала, улыбаясь, что сам бог не взыщет за то, что она Никитушку любит более, и вместе с тем она была до крайней степени самоотверженна, когда необходимо было помочь кому-либо и облегчить чью-либо нужду или страдания... Она была воплощенная любовь, и каждый звук ее голоса был обворожителен».

Чтобы хоть как-то утолить тоску о детях, Александра Григорьевна просит свекровь заказать хорошему художнику их портреты. И тут же предупреждает Екатерину Федоровну, выказав тонкость вкуса и глубокое понимание искусства:

«Не заказывайте, пожалуйста, Маньяни портрет Изики, у него, что бы он ни делал, получается карикатура... Ибо у него особый дар: он схватывает черты лица, набрасывает их на бумагу, а затем располагает наобум, как вздумается».

В октябре 1827 года пришла посылка. Аккуратно завернутый в ткань большой ящик. Александра Григорьевна с трудом, почему-то необычайно волнуясь, пыталась разорвать ленту, которой он был перевязан, потом разрезала ее, раскрыла обшивку — и на нее глянуло тонкое, бледное лицо Лизы, младшей их дочери, которую Александра Григорьевна, по вечной привычке своей сокращать и переименовывать имена, звала Изикой. Отодвинув все прочие вещи из московской посылки, она вынула портреты из обертки — дети словно бы выходили из-за тайной завесы, из-за пелены времени. Дышало пламя свечей, двигались легкие тени

на лицах, и дети оживали, и словно говорили, но так, что их могло услышать только сердце матери, и она говорила с ними весь вечер, и ей не хотелось никого видеть, она даже пораньше улеглась в постель. И жалела только об одном, что день был не тот, в который разрешалось им свидание с мужем, и обида наплывала на сердце, и ощущение несправедливости, что вот у нее сейчас радость, и грусть, и трепетное чувство близости с далекими их страдальцами, а Никита, Никитушка не может разделить с ней это странное и светлое соединение противоречивых чувств.

«Я получила портреты малюток. Изика так изменилась, что я не узнала бы своего ребенка, а ведь прошло всего только девять месяцев, как я с ней рассталась. Что касается Кати, то она была гораздо красивее. Меня поразило сходство ее с мужем... Я ежедневно благодарю Вас в душе за то, что Вам пришла мысль заказать для меня портреты детей маслом и в натуральную величину... Они доставляют мне большую радость... В первый день я не могла оторвать от них глаз, а на ночь поставила их в кресла, напротив себя, и зажгла свечу, чтобы осветить их, таким образом, я видела их каждый раз, как просыпалась. Я отдала портреты мужу...»

И в этом последнем поступке — вся Александра Григорьевна!

«Екатерина Федоровна после отъезда невестки, — пишет А. Бибикова, правнучка Муравьевой, — переехала с тремя внучатами в Москву в приготовленный для нее заранее Жуковским дом и отсюда, пользуясь всякими представляющимися случаями, посылала сыновьям деньги. Так как через Третье отделение можно было посылать только ограниченные суммы, то Екатерина Федоровна пользовалась всяческими оказиями. Конечно, многое пропадало, но все же сыновья ее по-

лучали около сорока тысяч в год. Благодаря хлопотам жены и матери Никите Михайловичу удалось получить в Сибири почти всю свою богатую библиотеку, так что он мог читать своим товарищам по заключению интересные и блестящие лекции по истории и военному искусству».

Хлопоты Александры Григорьевны, поддержанные свекровью, распространялись не только на братьев Муравьевых и Захара Григорьевича Чернышева. В том-то и дело, что «ее кошелек был открыт для всех», что ее стараниями жизнь отверженных становилась более сносной. Ей принадлежит идея создания в Чите медицинского пункта и аптеки — с помощью Екатерины Федоровны она получила с оказией все самые современные в те поры медицинские инструменты и приборы, различные настои и порошки, семена лекарственных трав, которые были посеяны затем в Чите на маленьком огорожке при открытой Муравьевой аптеке. Ее хозяином был определен декабрист Фердинанд Богданович Вольф — замечательный человек и не менее замечательный доктор.

Сколько жизней спасено! Скольких товарищей потеряли бы декабристы, томящиеся в Сибири, если бы не их «ангелы-хранительницы», и в их числе — Александра Григорьевна Муравьева.

Екатерина Федоровна была баснословно богата — она получила огромное наследство от своего отца барона Ф. М. Колокольцева. Все эти деньги были пущены сейчас на помощь читинским затворникам, она снаряжала в Сибирь чуть ли не целые обозы. Богат был и отец Александры Григорьевны — граф Г. И. Чернышев владел миллионным состоянием! Вся семья Чернышевых тоже душою была обращена к Чите, сестра Александры Григорьевны даже упрашивала баронессу Розен, отправляющуюся к мужу в Сибирь, взять ее с

собой в качестве горничной, чтобы только быть рядом с братом и сестрой. И все, что приходило Муравьевой из Москвы, было поставлено на службу декабристскому братству. Мы уже говорили об аптеке. Но Муравьевой во многом мы обязаны тем, что, кроме документов, рисующих нам историю восстания 14 декабря, кроме документов и записок, рассказывающих о жизни изгнанников на каторге, мы можем видеть их лица, запечатленные талантливой кистью декабриста Николая Бестужева. Портреты товарищей, виды Читы, зарисовки камер Петровского каземата, построенного на манер американских исправительных домов. Бумагу и краски для Николая Бестужева, необходимый инструмент для его и Торсона «механических занятий» — все это выписывала из Москвы, через свекровь, Александра Григорьевна.

«Я все еще не получила ни ящичка с красками, ни математических приборов, — пишет она Екатерине Федоровне. — Думаю, что они находятся в пути».

Современному человеку, снабженному сверх всяких мер фото- и кинокамерами, трудно представить себе, что значила для декабристов и оставшихся в России их семей возможность получить портрет дорогого человека, заживо похороненного в Нерчинских рудниках. А Муравьева вместе с другими женами декабристов, жившими в Чите, организовала еще и присылку новейших книг, выписку журналов. Это составило исключительную библиотеку. Журналы, которые не пропускались цензурой, все же приходили в Забайкалье: в расшитые листы заворачивали вещи в посылках, затем страницы разглаживали и сшивали. Душой всего была Муравьева. Она как бы сочетала в себе характеры Трубецкой и Волконской — возвышенную любовь первой и глубину миропонимания второй. Все это,

сплавленное воедино ее добротой, беспредельной отзывчивостью, самоотверженностью и тактом, вероятно, и явилось причиной такой откровенной любви к ней декабристов.

Ее внимание было столь ненавязчивым, ее чуткость, понимание души постороннего, казалось бы, человека были столь удивительны, что даже те, кто знал ее совсем недолго, носили ее образ в сердце своем всю жизнь. Всего год был в читинском остроге С. И. Кривцов, даже менее того, но ему запомнились супруги Муравьевы:

«Я не в состоянии, милая сестра, описать тебе все ласки, которыми меня осыпали, как угадывали и предупреждали они мои малейшие желания... Александре Григорьевне напиши в Читу, что я назначен в Туруханск и что все льды Ледовитого океана никогда не охладят горячих чувств моей признательности, которые я никогда не перестану к ней питать».

«Мы все без исключения любили ее, — писал декабрист Н. В. Басаргин, — как милую, добрую, образованную женщину и удивлялись ее высоким нравственным качествам: твердости ее характера, ее самоотвержению, безропотному исполнению своих обязанностей».

Постепенно жизнь в читинском остроге стабилизировалась. Теперь к Муравьевой присоединились Нарышкина, Ентальцева, с Благодатского рудника прибыли Волконская и Трубецкая. Росла Дамская улица, легче стало переносить невзгоды, особенно когда явилась в Читу неунывающая француженка Полина Гебль, чтобы стать здесь женой декабриста Анненкова.

В тюрьме возник свой ритм жизни — работы, заня-

тия «каторжной академии», репетиции маленького оркестра, для которого с помощью дам были получены инструменты и ноты.

И все же каждый день был наполнен непокоем, тревогой.

На бракосочетании Анненковых Александра Григорьевна не была — в тот день она получила известие о смерти матери. В одном доме была радость, в другом — горе. Никите Михайловичу она на первых порах ничего не сказала, но он сам почувствовал в ней тревогу, и она вынуждена была открыться. Теперь она тосковала и своей тоской и волновалась его волнением. Муж как-то странно жил в ней — его мысли и движения души его непонятным образом передавались ей, хотя частокол тюрьмы беспощадно отделял Муравьеву от мужа.

Но были волнения и другого порядка. Пронесся слух, что ночью кого-то из Читы тайком увезут. Предприимчивая, умеющая легко сходитьсь с людьми, Волконская назначила в церкви свидание, по всем правилам конспирации, с фельдъегерем, который был ей знаком, и узнала, что должны увезти декабриста Корниловича, человека умного, выдающегося историка. С некоторой уверенности в том, что жертва именно он, а не кто-либо из их мужей, у женщин не было. Волконская вспоминает события той ночи:

«Мы решили не ложиться и распределили между собой для наблюдения все улицы деревни... Холод стоял жестокий; от времени до времени я заходила к Александрине, чтобы проглотить чашку чая: она была в центре наших действий и против тюрьмы своего мужа; у нее все время кипел самовар, чтобы мы могли согреться. Полночь, час ночи, два часа — ничего нового. Наконец Каташа является и говорит нам, что на почтовой станции движение и выводят лошадей из ко-

нюшни... Мы все становимся за забором. Была чудная лунная ночь; мы стоим молча, в ожидании события. Наконец мы видим приближающуюся кибитку; подвязанные колокольчики не звенят; офицеры штаба коменданта идут за кибиткой: как только они с нами поравнялись, мы разом вышли вперед и закричали: «Счастливого пути, Корнилович, да сохранит вас бог!» Это было театральной неожиданностью; конвоировавшие не могли прийти в себя от удивления, не понимая, как мы могли узнать об этом отъезде, который ими держался в величайшей тайне. Старик комендант долго над этим раздумывал».

«Почти во все время нашего пребывания в Чите, — вспоминает Полина Анненкова, — заключенных не выпускали из острога, и вначале мужей приводили к женам только на случай серьезной болезни последних, и то на это надо было испросить особое разрешение коменданта. Мы же имели право ходить в острог на свидание через два дня на третий. Там была назначена маленькая комната, куда приводили к нам мужей в сопровождении дежурного офицера.

На одном из таких свиданий был ужасный случай с А. Г. Муравьевой».

Подробно происшествие это описал декабрист Н. В. Басаргин:

«Раз как-то госпожа Муравьева пришла на свидание с мужем в сопровождении дежурного офицера. Офицер этот подпоручик Дубинин не напрасно носил такую фамилию и сверх того в этот день был в нетрезвом виде. Муравьев с женой остались по обыкновению в присутствии его в одной из комнат, а мы все разошлись, кто на двор, кто в остальных двух казематах. Муравьева была не очень здорова и прилегла на по-

стели своего мужа, говорила о чем-то с ним, вмешивая иногда в разговор французские фразы и слова. Офицеру это не понравилось, и он с грубостью сказал ей, чтобы она говорила по-русски. Но она, посмотрев на него и не совсем понимая его выражения, спросила опять по-французски мужа: «Qu'est ce qu'i, mon ami?» («Чего он хочет, мой друг?») Тогда Дубинин, потерявший от вина последний здравый смысл свой и, полагая, может быть, что она бранит его, схватил ее вдруг за руку и неистово закричал: «Я приказываю тебе говорить по-русски!» Бедная Муравьева, не ожидавшая такой выходки, такой наглости, закричала в испуге и выбежала из комнаты в сени. Дубинин бросился за ней, несмотря на усилия мужа удержать его. Большая часть из нас и в том числе брат Муравьевой, граф Чернышев, услышав шум, отворили из своих комнат двери в сени, чтобы узнать, что происходит, и вдруг увидели бедную женщину в истерическом припадке и всю в слезах, преследуемую Дубининым. В одну минуту мы на него бросились, схватили его, но он успел уже переступить на крыльцо и, потеряв голову, в припадке бешенства закричал часовым и караульным у ворот, чтобы они примкнули штыки и шли к нему на помощь. Мы, в свою очередь, закричали тоже, чтобы они не смели трогаться с места и что офицер пьяный, сам не знает, что приказывает им. К счастью, они послушали нас, а не офицера, остались равнодушными зрителями и пропустили Муравьеву в ворота. Мы попросили старшего унтер-офицера сейчас же бежать к плац-майору и звать его к нам. Дубинина же отпустили тогда только, когда все успокоились и унтер-офицер отправился исполнить наше поручение. Он побежал от нас туда же. Явился плац-майор и сменил сейчас Дубинина с дежурства. Мы рассказали ему, как все происходило; он

просил нас успокоиться, но заметно было, что он боялся, чтобы из этого не вышло какого-нибудь серьезного дела и чтобы самому не подвергнуться взысканию за излишнюю к нам снисходительность. Коменданта в это время не было в Чите. Его ожидали на другой или на третий день. До приезда его нас перестали водить на работу для того, чтобы мы не могли сообщаться с прочими товарищами нашими, и вообще присмотр сделался как-то строже. По возвращении своем комендант сейчас пошел к Александре Григорьевне Муравьевой, извинился перед нею в невежливости офицера и уверил ее, что впредь ни одна из дам не подвергнется подобной дерзости. Потом зашел к нам, вызвал Муравьева и Чернышева, долго говорил с ними и просил, в лице их, нас всех как можно быть осторожнее на будущее время. «Что, если бы солдаты не были так благоразумны, — прибавил он, — если бы они послушались не вас, а офицера? Вы бы могли все погибнуть. Тогда скрыть происшествие было бы невозможно. Хотя офицер и первый подал повод; и он тоже подвергся бы ответственности, но вам какая от того польза? Вас бы все-таки судили, как возмутителей, а в вашем положении это подвергает бог знает чему. Я уже тогда, кроме бесполезного сожаления, ничем бы не мог пособить вам». Далее уверил их, что переведет Дубинина в другую команду.

Своим офицерам, а особенно плац-майору, который был его родной племянник, он порядочно намылил голову за то, что они не смотрят за дежурными и допускают их отправлять эту обязанность в нетрезвом виде. Так кончилось это происшествие».

Между тем для Муравьевой оно не прошло бесследно: каждый раз, как переступала она порог тюрьмы, в ней возникало неосознанное чувство тревоги. Оно исчезло лишь с переходом в Петровский завод.

«Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы — в Петропавловском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых — здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать камеры.

Нам, слава богу, разрешено там быть вместе с нашими мужьями, но без детей, так что я целый день бегаю из острога домой и из дома в острог.

Если бы даже нам дали детей в тюрьму, все же не было бы возможности поместить их там: комнатка сырая и темная и такая холодная, что все мы мерзнем... Наконец, моя девочка* кричала бы весь день, как орленок, в этой темноте, тем более что у нее прорезаются зубки, что очень мучительно».

Такое впечатление произвела на Александру Григорьевну тюрьма. Естественно, что она, как и другие женщины, решила по возможности устроить свою жизнь иначе.

«Александрина, — пишет Волконская, — ...выстроила себе дом вблизи этой тюрьмы; постройка эта, при помощи богатого подарка, была произведена тем же инженером, который строил и самую тюрьму».

Подробно описывает жизнь женщин в Петровске декабрист Якушин, один из самых убежденных и самых достойных членов тайного общества:

«Дамы, жившие в казематах... всякое утро, какая бы ни была погода, отправлялись в свои дома, чтобы

* Дочь Муравьевых Софья, или, как ее звали все, — Ноннушка, родившаяся в Чите.

освежиться и привести все нужное в порядок. Больно было видеть их, когда они в непогоду или трескучие морозы отправлялись домой или возвращались в казематы; без посторонней помощи они не могли всходить по обледенелому булыжнику на скаты насыпи, но впоследствии им было дозволено на этих скатах устроить деревянные ступеньки за свой счет. При таком сложном существовании строгие предписания из Петербурга не всегда с точностью могли быть исполнены... Никита Муравьев занемог гнилой горячкой, бедная его жена и день и ночь была неотлучно при нем, предоставив на произвол судьбы маленькую свою дочь Нонушку, которую она страстно любила и за жизнь которой беспрестанно опасалась. В этом случае Вольф... отправился к коменданту и объяснил ему, что Муравьев, оставаясь в каземате, не может выздороветь и может распространить болезнь свою на других. Комендант... после некоторого сопротивления решился позволить Муравьеву на время его болезни перейти из каземата в дом жены его».

В Петровской тюрьме нет скученности, каждый из семейных в отдельной камере, остальные тоже разъединены, и это физическое разобщение постепенно прорастало разобщением моральным, растет чувство одиночества, братство делится на кружки, на группки. Подобная ситуация уже чревата взрывом — и взрыв произошел: вероятнее всего, человеком, с которого все началось, был Дмитрий Иринархович Завалишин — натура своеобразная и сложная; в нем сочеталась редкая самовлюбленность, на границах мании величия, с чувством болезненной принципиальности, острым ощущением справедливости ко всем, кроме своих товарищей, вокруг него собралась часть узников из неимущих, которым, благодаря разъяснениям Завалишина, показалось обидным получать помощь от своих

богатых товарищей. Они даже через коменданта Лепарского обратились к властям за материальной помощью. Естественно, что поступок такой возмутил остальных товарищей, «бунтарей» усовестили, показали им, сколь унижительно выглядит обращение за помощью к тюремщикам, но было положено начало артели, в которой кооперировались взносы — по возможности каждого, глава артели тратил деньги на питание, на все необходимое для нормальной жизни заключенных. Должность эта была выборной.

Но разделение способствовало, с другой стороны, и углубленным занятиям по личным склонностям. Муравьев погружается в изучение политики, истории, военного искусства, Завалишин — в изучение языков, возникают литературные вечера, на которых декабристы читают свои сочинения. После того как Николай Бестужев прочитал приключенческую морскую повесть, написанную им в пику модным в те поры пустоватым сочинениям, Александра Григорьевна неотступно обращалась к нему с просьбой написать воспоминание о Рылееве — для будущего. Да, она жила будущим, хотя дни ее были уже сочтены...

Роды оказались тяжелыми, дочка, нареченная Олей, умерла. Еще один младенец, рожденный в неволе, был схоронен на кладбищенской горе.

«Я по целым дням ничего не делаю, — писала Александра Григорьевна свекрови. — У меня нет еще сил взяться ни за книгу, ни за работу, такая все еще на мне тоска, что все метаюсь, пока ноги отказываются. Я не могу шагу ступить из своей комнаты, чтобы не увидеть могилку Оленьки. Церковь стоит на горе, и ее отовсюду видно, и я не знаю как, но взгляд неволью постоянно обращается в ту сторону...

Я старею, милая маменька, Вы и не представляете, сколько у меня седых волос».

Ей было в это время двадцать семь лет!

Ей оставалось жить полгода.

Н. В. Б а с а р г и н:

«...смерть избрала новую жертву, и жертву самую чистую, самую праведную. А. Г. Муравьева, чувствуя давно уже общее расстройство здоровья своего, старалась скрыть ненадежное свое положение от мужа и продолжала вести обыкновенную жизнь, не принимая, как советовал ей Вольф, особенных предосторожностей. Она ходила в зимнее время легко одетая из каземата на свою квартиру по несколько раз в день, тревожилась при малейшем нездоровье своего ребенка и крепко простудилась».

И. И. П у щ и н:

«...По каким-то семейным преданиям, она боялась пожаров и считала это предвещанием недобрым. Во время продолжительной ее болезни у них загорелась баня. Пожар был потушен, но впечатление осталось. Потом в ее комнате загорелся абажур на свечке, тут она окружающим сказала: «Видно, скоро конец». За несколько дней до кончины она узнала, что Н. Д. Фонвизина родила сына, и с сердечным чувством воскликнула: «Я знаю дом, где теперь радуются, но есть дом, где скоро будут плакать!» Так и сбылось. В одном только... ошиблась, плакал не один дом, а все друзья, которые любили и уважали ее».

М. Н. В о л к о н с к а я:

«Вольф не выходил из ее комнаты; он сделал все, чтобы спасти ее, но господь судил иначе. Ее последние минуты были величественны: она продиктовала прощальные письма к родным... Исполнив свой христианский долг, как святая, она занялась исключительно своим мужем, утешая и ободряя его. Она умерла на

своем посту, и эта смерть повергла нас в глубокое уныние и горе. Каждая спрашивала себя: «Что станет с моими детьми после меня?»

В эти несколько часов Никита Михайлович Муравьев поседел.

Е. П. Нарышкин:

«26-го числа прошлого месяца бранные останки нашей милой госпожи Муравьевой были преданы земле; вы хорошо понимаете, что мы испытали в этот миг. Все слезы были тут искренни, все печали — естественны, все молитвы — пламенны... Она обладала самым горячим, любящим сердцем, и в ней до последнего вздоха сохранился самоотверженный характер; характер матери, любящей своих детей. Поговорив с мужем, расставшись со всеми окружающими и исполнив свой христианский долг, она почувствовала сильное желание попрощаться с маленькой дочерью, спавшей в своей комнате; много раз она спрашивала, не проснулась ли та, и все удерживалась, чтобы даже на мгновение не нарушить ее покоя; наконец, не смея поднять от сна ребенка, чтоб поцеловать его в последний раз, она попросила принести какую-нибудь вещицу, которую малютка часто держала в руках, — няня принесла ей куклу; чтоб скрыть свое волнение, она пошутила немножко над нарядом, в который куклу облачили в этот день, и попросила поместить ее так, чтобы все время ее видеть. Сознание ее полностью сохранилось, и она уже задолго предчувствовала свой конец. Все последние годы страшно истощили ее силы, она была очень слаба, хотя ничем особенно не болела, и организм не имел сил вынести осложнение опасной болезни, внезапно унесшей ее. Она страстно любила мужа и детей, и чувство ее было так сильно, что она никогда не могла быть спокойной, имея столько объектов горячей любви. Разлука с семьей и двумя любимыми дочерьми

была для нее в последний день так же мучительна, как и в первое мгновение, и именно эти печальные события последних семи лет ее жизни унесли ее так рано».

Она умерла 22 ноября 1832 года. Дни в Забайкалье стояли студеные, земля закаменела, надо было оттаивать ее, чтобы вырыть могилу. Плац-адъютант Лепарский, племянник коменданта, вызвал каторжников, обещая им заплатить, чтоб сделали все быстро и хорошо. Каторжники возмущались:

— Какие деньги, господин полковник! Мы же мать хороним, понимаете? — мать! Так не обижайте нас, разве деньги могут заменить ее доброту? Осиротели мы, ваше высокоблагородие.

Н. И. Л о р е р:

«Бестужев, золотой человек, занялся устройством гроба, обил его белой тафтой и, по желанию мужа, в надежде, что позволят перевезти прах его жены в Россию, даже отправлялся, с позволения коменданта, на завод и там своими руками отлил свинцовый гроб».

Однако труды его были напрасны. Родственники Александры Григорьевны, близкие мужа ее обращались к высоким сановникам и к самому императору с просьбой хотя бы тайно перевезти прах Муравьевой на родину и похоронить ее при скромном церковном обряде в родовом имении Чернышевых, в дальней деревне Орловской губернии. Но каждый раз они натывались на незримую, но беспощадную преграду. Наконец они получили через Бенкендорфа изъявление воли императора, лишившее их надежды навсегда:

«Его величество изволил найти, что перевезение тела госпожи Муравьевой, сколь бы ни было скрытно произведено, но неминуемо огласится и подаст повод многим неблагоприятным толкам, и потому его величе-

ство высочайшего своего соизволения на сие не изъ-
явил».

И. Д. Я к у ш к и н:

«Кончина ее произвела сильное впечатление не только на всех нас, но и во всем Петровском, и даже в казарме, в которой жили каторжные. Из Петербурга, когда узнали там о кончине Муравьевой, пришло повеление, чтобы жены государственных преступников не жили в казематах и чтобы их мужья отпускались ежедневно к ним на свидание... А между тем при всех этих льготах беспрестанно проявлялась неловкость нашего положения и особенно положения женатых. Никита Муравьев через несколько времени после кончины жены получил приказание от коменданта перейти в каземат, и ему приходилось оставлять дочь свою, маленькую Нонушку, не имея при ней даже няни, на попечение которой он мог бы вполне положиться; к тому же дочь его была очень некрепкого здоровья, и он беспрестанно за нее опасался. Услыхав о таком его горестном положении и зная, что он сам не решится вступить в переговоры с комендантом, я просил дежурного офицера доложить генералу, что я имею надобность с ним видаться. Через час потом меня позвали на гауптвахту к коменданту, когда мы остались с ним вдвоем, я просил отменить сделанное им распоряжение относительно Никиты Муравьева, и не разлучать отца с малолетней его дочерью, на что Лепарский мне отвечал, довольно сурово, своим обычным словом «не могу», опираясь на данные ему предписания относительно нашего содержания, нарушение которых подвергло б его строгому наказанию. Тут я ему заметил, что в настоящем случае он поступает очень непоследовательно, если захочет непременно исполнить данные ему предписания, тогда как он не раз прежде нарушал их, когда находил слишком жестокими. Наконец, он согла-

сился оставить Никиту Муравьева дома, сказав мне: «Смотрите, если из этого выйдет мне какая-нибудь неприятность, то я буду жаловаться на вас вашему другу Граббе» *.

В том же 1832 году у Александра Муравьева закончился срок каторжных работ. Он должен был выйти на поселение, но решил остаться в Петровском, чтобы не оставлять брата и чтобы затем уехать вместе в любую точку Сибири, куда будет им высочайше назначено. Через коменданта Лепарского он просил императора о милости, и милость ему была оказана: ему разрешили остаться в Петровском... но только не в качестве вольного, хотя и поднадзорного, поселенца, а в качестве каторжника. И Александра снова направили в тюрьму.

Только через три года, вместе с Волконскими, Трубецкими, Луниным, Вольфом, покинули братья Петровский завод, скромно жили в селении Урик близ Иркутска. Вместе с Луниным Муравьев создал здесь одну из острейших антиправительственных работ — «Разбор донесения следственной комиссии в 1826 году», и когда жандармы приехали арестовать Лунина, все друзья боялись, что пострадают они оба. Но Никиту Михайловича чаша эта обошла. Был он грустен, все силы свои обратил на воспитание дочери, аккуратно писал матери о своих делах. Даже когда с ним случилось несчастье — он повредил руку, все равно к очередной почте он готовил письмо, преодолевая боль, и, только закончив письмо, потерял сознание.

В него влюбилась некая Каролина Карловна Кузьмина, бывшая директриса Иркутского института бла-

* Общий знакомый Якушкина и Лепарского.

городных девиц, тетка жены его брата Александра. Она буквально преследовала Никиту Михайловича своими заботами и, натолкнувшись на его холодность, вымещала досаду свою на Нонушке. Девочка терпела, материнская любовь к отцу передалась ей, она — еще совсем девочка — берегла его в меру своих сил от малейших неприятностей, и ее любили друзья отца так же трогательно и верно, как любили Александру Григорьевну.

25 апреля 1843 года Никите Михайловичу сделалось плохо, он вдруг потерял сознание, а через три дня его не стало.

«Вы уже знаете печальную, тяжелую весть из Иркутска, — писал через месяц Пущин Якушкину. — Сию минуту принесли мне письмо Волконского, который описывает кончину Никиты Муравьева и говорит, что с тою же почтою пишет к вам. Тяжело будет вам услышать это горе. Писать не умею теперь. Говорить бы еще мог, а лучше бы всего вместе помолчать и подумать».

По смерти родителей дети декабристов должны были отдаваться в казенные учебные заведения, где они не имели права носить фамилии родителей своих, а назывались по имени отца. Софью тоже было высочайше велено тотчас же по смерти отца вести в Москву, в институт, причем даже свидание с родственниками ей было запрещено. Тринадцатилетняя девочка, так страстно привязанная к отцу, перенесшая в одночасье не только его смерть, но и смерть гувернантки, воспитывавшей ее, — та отравилась, не перенеся потери Никиты Михайловича, — вырвана из привычной обстановки, из рук ласковых, любящих ее друзей и мчится с фельдъегерем в Москву.

«Вся моя жизнь, — пишет она в «Записках», — терпела от того, что я так рано лишилась отца моего,

так рано осталась без руководителя, которому верила смело во всем, видя в нем поборника добра и истины. Сильный и яркий свет, как заря прекраснейшего летнего дня, озаривший мои первые годы, померк, и туман, окруживший меня, все сгущался, и взор мой понапрасну искал светоча, по которому направлять свои шаткие шаги...»

Летела перед Нонушкой Сибирь, бревенчатые деревни, дикие реки, редкие города, пропитывающаяся золотыми красками изначальной осени тайга, летела Сибирь, как некогда перед глазами матери, да только назад, в безвозвратность. Отступали за леса, за горы и Петровск, и Урик, и река-слеза Ангара, и стольный город Иркутск. И как две свежие и не перестающие кровоточить раны — две ранние могилы. И Сибирь, горько расставаясь с сиротой и словно пытаюсь вымолить у нее прощение, откупиться, что была так жестока к матери ее и к отцу, все бросала, все бросала под колеса брички золотые не вечные монеты — осеннюю листву.

«Примчались они к московской заставе вечером, — пишет А. Бибилова. — При помощи большой суммы денег родным удалось подкупить караул у заставы и фельдъегеря, который согласился привезти Софью Никитичну в дом ее бабки, где она провела ночь среди родных. Перед рассветом фельдъегерь отвез ее обратно за заставу, и тогда уже шлагбаум подняли, чтобы пропустить девицу мещанского звания (по указанию императора дети декабристов приписывались к мещанскому сословию. — М. С.) Софью Никитину».

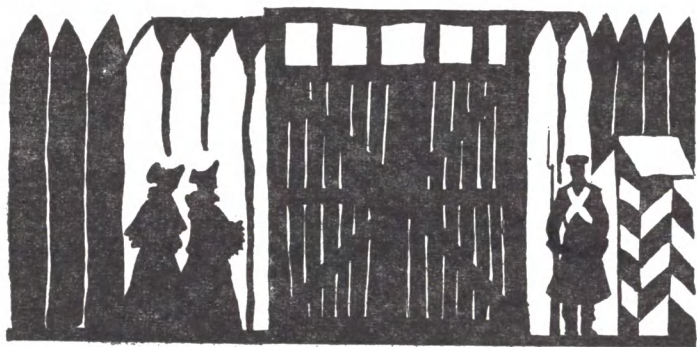
Под этой фамилией она была записана в Екатерининский институт.

Но на фамилию «Никитина» Нонушка ни разу не отозвалась. Она словно бы не слышала этой фамилии. И все вынуждены были называть ее по имени.

Однажды в Екатерининский институт приехала императрица Александра Федоровна, все воспитанницы встречали ее поклонами и называли матушкой.

— А что же ты меня матушкой не называешь, как все? — спросила государыня у Софьи.

— У меня есть одна только мать, — сурово ответила девочка, — и она похоронена в Сибири.



Наталья Дмитриевна ФОНВИЗИНА

Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Н. Некрасов

Монастырские ворота были закрыты. Парнишка постучался, бородатый привратник звякнул засовом, массивная калитка повернулась легко и беззвучно, и отрок, вздохнув облегченно, вступил в желанный предел. Опрятно, но небогато одетый, похожий на сверстников своих — крестьянских детей, он попросил монахов принять его в послушники. То ли голос, наполненный трепетом, то ли удивительные на мальчишечьем лице неж-

ные, выпуклые глаза, лучезарные и преданные, заставили настоятеля отнестись к пришельцу сердечно:

— Что знаешь ты? — спросил священник.

— Что все на свете от бога пришло и к богу вернется.

— Что видел ты?

— Листья, зеленые по весне, падающие во прах...

— Что слышал ты?

— Клятвы верности, обернувшиеся предательством...

— Ты страдал... Молись.

Отрок упал на колени.

В тот же миг в ворота постучали. Посланные помещиком Апухтиным, бывшим костромским предводителем дворянства, люди искали его дочь — Наташу.

Через много лет дочь тобольского прокурора Машенька Францева написала воспоминания о доброй своей знакомой, в юности носившей имя — Наташа Апухтина, с которой провела столько незабвенных лет. Там есть между прочими и такие строки:

«Жизнь ее с детства была необыкновенная, она была единственная дочь богатого человека, Апухтина, женатого на Марье Павловне Фонвизиной. Он долго был предводителем дворянства в Костроме, где были у него большие поместья. В этих-то костромских лесах и воспитывалась поэтичная натура его дочери. Она любила поля, леса и вообще привольную жизнь среди народа и природы, не стесненную никакими лживыми личинами светской жизни в городах... Надо заметить, что она была очень красива собой, и чтоб на нее менее обращали внимания, она стояла по целым часам на солнечном упеке и радовалась, когда кожа на ее лице трескалась от жгучих лучей.



Когда ей исполнилось 16 лет, то к ней стало свататься много женихов, о которых она и слышать не хотела, решившись в сердце посвятить себя богу и идти в монастырь. Родители, узнав о ее желании, восстали против него и потребовали, чтобы она вышла замуж. Тогда она задумала тайно удалиться в монастырь...»

Добавим, что была еще одна причина для такого решения. Среди тех, кто пытался вскружить голову скромной, удивительно чистой и глубоко чувствующей девушке, был один, который мог бы сделать ее счастливой, возможно, даже разрушить воспитанную в ней матерью привязанность к небу, подарив ей взамен привязанность к земле. Но он, убедившись, что отец Наташи Апухтиной разорен, охладел и покинул ее, и листья, зеленые по весне, отлетели во прах, и клятвы верности обернулись предательством.

«Вскоре после этого, — пишет Францева, — приехал к ним в деревню двоюродный ее дядя, Михаил Александрович Фонвизин, человек в высшей степени добрый, честный, умный и очень образованный. Он знал ее с детства и любил ее всегда, как милую девочку; но за время, как он не видел ее долго, она успела расцвести и из наивной хорошенькой девочки превратиться в красавицу, полную огня, хотя и с оттенком какой-то грустной сосредоточенности. Михаил Александрович, будучи мягкого, нежного сердца, не устоял и пленился настолько своей племянницей, что привязался к ней страстно. Она, видя горячую его привязанность к ней, не осталась равнодушной к его чувству, тем более что имела случай оценить благородные его качества и высокое, бескорыстное сердце, высказавшееся, как она узнала, в следующем великодушном отно-

сительно ее отца поступке. Отец задолжал ему порядочную сумму денег, и когда Михаил Александрович узнал о расстройстве его дел, то разорвал вексель и бросил в камин. Старик отец хотя был очень тронут его благородным великодушием, но гордой душе его тяжело было все-таки перенести унижение перед другом. Заметив нежные его чувства к дочери, он очень обрадовался, когда Михаил Александрович заявил ему о желании на ней жениться, если получит ее согласие. У гордого отца после этого объяснения точно камень свалился с сердца. Он, зная нерасположение дочери вообще к замужеству, передал ей предложение дяди и при этом рассказал ей о великодушном его поступке относительно векселя, прибавив, что он был бы вполне счастлив, если бы она не отвергла его предложение и тем как бы уплатила за отца и спасла бы его гордость и честь».

Он был старше ее на семнадцать лет, успел уже побывать в битвах, попал в плен, был отправлен в Париж, а оттуда — в Бретань, участвовал в заговоре в пользу Бурбонов, затем, когда во Францию вошли русские войска, вернулся к службе, в двадцать первом году стал членом Северного тайного общества, в год женитьбы вышел в отставку в чине генерала.

Наталья покорилась своей судьбе и все же там, в глубине души, таила обиду, что ее молодость служит банковской купюрой, которой расплачиваются по векселям.

Через восемнадцать лет после замужества, 4 апреля 1840 года, в письме к протоиерею Стефану Знаменскому она припомнила дни, когда из инока Назария снова стала Наташей Апухтиной:

«Вот я скажу тебе про себя, что в начале моей внутренней жизни я, принадлежавшая к семейству, которое в той стороне слыло достаточным, нуждалось во всем:

дела отца моего были совершенно расстроены — это у нас скрывали и всякую копейку, что называется, ставили ребром; бывало так, что ни чаю, ни кофе, ни даже свеч салных нет в доме, да и купить не на что, продавать же ненужное стыдились; жгли по длинным зимним вечерам масло постное; все это было в деревне. Людей кормить было нечем одно время, а дворня была большая; распустить их не хотели или стыдились, прикрывая ложным великолепием настоящую нищету. Жили в долг, не имея даже в виду чем заплатить. Наконец отец мой уехал в Москву по какому-то делу; там его по долгам остановили и не выпускали из города, а мы с маменькой остались в деревне, терпя всякую нужду, обносившись бельем и платьем. Мне было тогда 15 лет. Я уже это все понимала. Тут приехали описывать наше имение — не только крестьяне, недвижимое, но и все движимое; мебель и все даже безделицы, после чего мы не могли уже располагать ничем... Вот я и замуж согласилась более выйти потому, что папенька был большою суммою должен матери Михаила Александровича и свадьбою долг сам собою квитался, потому что я одна дочь была и одна наследница. Мне это растолковали, и, разумеется, в этом случае уже не до монастыря было, а надобно было отца из беды выкупать... В малолетстве моем дом отца моего богатством славился, как волшебный замок. Чего у нас не было? Как полная чаша. В 12-м году, при нашествии, все имение отца погибло, в долг купили деревню на деньги матушки Михаила Александровича. Вот этот-то долг и надо было выкупить собою. Вышедши замуж, я опять попала в богатство и знатность — была балована, как только можно, на одни шпильки и булавки имела 1200 рублей в год. Не нужно мне тебе говорить, что ни один рубль из этих денег не пошел на шпильки и булавки».

Честнейший, тонкой души человек, Михаил Алксандрович Фонвизин посвятил Наталью Дмитриевну в тайну свою, и это возымело действие, которого он не ожидал: жена не только разделила его мысли, но его высокое дело стало ее делом, участие мужа в тайном обществе она восприняла как испытание для себя, ее вдохновила опасность.

«Через несколько месяцев, — пишет Францева, — они обвенчались в костромском их родовом имении Да-выдове и вскоре переехали на житье в Москву, где Наталья Дмитриевна, окруженная многочисленною родней как со стороны мужа, так и своей, должна была постоянно посещать свет. Не любя его, она скучала пустотой светской жизни, тосковала и рвалась к своим заветным полям и лесам. Роскошные балы, где она блистала своей красотой, нисколько ее не привлекали. Посреди этой светской лжи и лести духовная внутренняя ее жизнь как бы уходила еще глубже в сердце, росла и крепла в ней. Столкновение с разнородными людьми выработало еще более серьезную сторону, и из наивной экзальтированной девочки она превратилась в женщину необыкновенно умную, сосредоточенную, глубоко понимающую свои обязанности. Это доказывает очень характеристичный эпизод ее встречи на одном бале с тем молодым человеком, который когда-то так увлекал ее своими льстивыми уверениями и так горько разбил ее чистые мечты.

На бале он был поражен встречей с женой заслуженного и всеми уважаемого генерала, блиставшей красотой и умом, не наивною уже девочкой, когда-то и его самого увлекавшей, но очаровательной женщиной, окруженной толпой поклонников. Его низкая натура проявилась еще раз тем, что он не задумался стать тоже в число ее поклонников, рассчитывая на преж-

нюю к нему симпатию; но он был уничтожен благородным и гордым ее отпором, как низкий ухаживатель за чужой женой».

Этот эпизод, известный с чьих-то слов Пушкину, послужил, по мнению современников, поводом для одной из важнейших сцен романа «Евгений Онегин» — объяснения Татьяны Лариной и Онегина:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна:
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен?..
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

Михаил Александрович Фонвизин был племянником знаменитого писателя, автора «Недоросля», прославившего род Фонвизиных на поприще российской словесности. Но и сам Михаил Александрович вписал добрую страницу, но уже не в литературную, а в воинскую славу: едва достигнув 15 лет, он был определен в воинскую службу. После битвы под Аустерлицем храброго молодого человека произвели в офицеры, а через семь лет, в 1812-м, стал уже адъютантом начальника штаба Алексея Петровича Ермолова, одного из самых замечательных русских военачальников, причем Ермолов любил горячо своего адъютанта и, как он сам говорил, «верил ему, как самому себе».

...Когда французы подходили к родовому имению

Фонвизиных Марьино, Михаил Александрович решил предупредить своего отца, что французы движутся по их дороге, затем, отправив родителей подальше от опасности, юный адъютант захотел помыться в бане, смыть, как говорится, ратный пот, и когда крестьяне сообщили ему, что французы уже здесь, он, переодевшись в крестьянскую одежду, сумел скрыться. Встретив на пути бригаду, шедшую в Москву, и зная, что Москва уже сдана французам, Фонвизин остановил бригаду, спас от верной и бессмысленной гибели многих людей. Мудрено ли, что уже в 1813 году он получил под командование полк.

Когда Михаил Александрович уходил в отставку, офицеры поднесли ему на память золотую шпагу, а солдаты его полка, через несколько лет оказавшись в карауле Петропавловской крепости, где томился Фонвизин, предлагали ему бежать, понимая, чем они рискуют при этом.

И вот он отставной генерал. Богат, благополучен. Жена родила ему сына-первенца, который уже лопочет «мама» и «папа», тянет руки к его орденам, когда генерал в часы официальных визитов надевает парадную форму. Но переворачивается страница, наступает зима 1825 года, в Таганроге умирает Александр I, месяц декабрь идет к середине...

Мы снова обращаемся к воспоминаниям Марии Францевой:

«Она знала, что муж ее принадлежал к тайному обществу; но не предполагала, однако, чтоб ему грозила скорая опасность. Когда же после 14 декабря к ним в деревню Крюково, имение, принадлежащее Михаилу Александровичу, по петербургскому тракту, где они проводили зиму, явился брат Михаила Александровича

в сопровождении других незнакомых ей лиц, то она поняла тотчас же, что приезд незнакомых людей относится к чему-то необыкновенному. От нее старались скрыть настоящую причину, сказали, что ее мужу необходимо ехать в Москву по делам, почему они и приехали за ним по поручению товарищей его. Беспокойство, однако, запало в ее сердце, особенно когда стали торопить скорейшим отъездом; она обратилась к ним с просьбой не обманывать ее: «Верно, вы везете его в Петербург?» — приставала она к ним с вопросом. Они старались уверить ее в противном. Муж тоже, чтобы не огорчить ее вдруг, старался поддерживать обман, простился с нею наскоро, сжав судорожно ее в своих объятиях, благословил двухлетнего сына, сел в сани с незнакомцами, и они поскакали из деревни. Наталья Дмитриевна выбежала за ними в ворота и, не отрывая глаз, смотрела за уезжавшими, когда же увидела, что тройка, уносящая ее мужа, повернула не на московский тракт, а на петербургский, то, поняв все, упала в снег, и люди без чувств унесли ее в дом. Оправившись от первого удара, она сделала нужные распоряжения и на другой же день, взяв с собой ребенка и людей, отправилась прямо в Петербург, где узнала о бывшем 14 декабря бунте на площади и о том, что муж ее арестован и посажен в Петропавловскую крепость».

Наташа с детства жаждала подвига, ждала его, готовилась к нему. В четырнадцать лет она стала носить на теле пояс, вываренный в соли, он врезался в тело, соль разъедала кожу, но Наташа терпела боль stoически, она пыталась себя и солнцем и морозом, и была уверена, что придет ее час. И вот он настал: она в Петербурге, чтобы находиться поближе к мужу; какая бы участь его ни постигла, она разделит его судьбу.

А судьба декабристов долго оставалась неясной. То возникал слух, что их вскоре выпустят всех, явив миру всепрощение, то вдруг начинали говорить, что дела их худы, что многим не миновать петли.

«Следственная комиссия, — вспоминал потом Михаил Александрович Фонвизин, — приступила к розысканиям. Множество лиц было захвачено в Петербурге по подозрению в участии в тайных обществах; других свозили в крепость Петропавловскую со всех концов России. Сначала некоторых допрашивал во дворце сам император; к нему приводили обвиняемых со связанными руками назад веревками, как в полицейскую управу, а не в царские чертоги. Государь России, забывая свое достоинство, позволял себе ругаться над людьми беззащитными, которые были в полной его власти, и угрожал им жестокими наказаниями. Тайная следственная комиссия, составленная из угодливых царедворцев, действовала в том же инквизиционном духе.

Обвиняемые содержались в самом строгом заточении, в крепостных казематах и беспрестанном ожидании страха быть подвергнутыми пытке, если будут упорствовать в заpiresательстве. Многие из них слышали из уст самих членов следственной комиссии такие угрозы. Против узников употребляли средства, которые поражали их воображение и тревожили дух, раздражая его то страхом мучений, то обманчивыми надеждами, чтобы только исторгнуть их признания. Ночью внезапно отпиралась дверь каземата; на голову заключенного накидывали покрывало, вели его по коридорам и по крепостным переходам в ярко освещенную залу присутствия. Тут, по снятии с него покрывала, члены комиссии делали ему вопросы на жизнь и смерть и, не давая времени образумиться, с грубостью требовали ответов мгновенных и положительных...»

Комиссия была уже о многом осведомлена, ей были известны имена, даты собраний и содержание бесед, и вопросы она ставила хитро; видишь, мол, нам и это, и это, и это известно, так что заператься нет смысла. Так, на одном из первых допросов Фонвизина спросили:

«В 1817 году в Москве именно у вас были совещания об истреблении покойного государя императора. В совещаниях находились Сергей Муравьев-Апостол, Никита, Александр и Матвей Муравьевы и другие. Вы с прочими решили истребить государя; Якушкин вызвался совершить злодеяние и получил на то общее согласие ваше. Вскоре потом Сергей Муравьев на бумаге, доказав скудность средств ваших, убедил отложить сие покушение до времени. Какие причины родили в вас сие ужасное намерение, кто разделил оное сверх означенных лиц и каким образом Якушкин хотел совершить убийство?»

Фонвизин тяжело переносит допросы и крепостное заключение. К мукам нравственным прибавилась болезнь, начался жар. И только письма жены, которые ласточками с воли прилетали в темный, сырой каземат, были для узника отрадой:

«Письма моего милого, сердечного друга — для сердца моего драгоценный памятник ее нежной любви ко мне...»

Наталья Дмитриевна искала встречи с мужем. Вместе с Якушкиной они сняли ялик и стали по многу часов кататься у крепостных стен, делая вид, что любуются Невой. Дважды удалось им увидеть мужей, когда тех вели на прогулку, а убедившись, что солдаты-охранники сочувствуют декабристам, они стали смело подплывать к берегу, выждав удобную минуту, и передавали в крепость записки, и получали ответы на истершихся бумажках от табака.

В начале апреля ей удалось послать мужу свой портрет, а 25 числа им, наконец, разрешили свидание.

Стало ясно, что ему суждено отбывать каторгу в Сибири. И Наталья Дмитриевна стала готовиться к отъезду.

Ей удалось узнать, когда отправят Михаила Александровича из крепости, она сняла извозчика и отправилась вперед, ждать узников на первой же от Петербурга станции.

«Когда мы сели отдохнуть около стола, — вспоминает декабрист Басаргин, — а фельдъегерь вышел распорядиться лошадьми, смотритель сделал знак Фонвизину, и тот сейчас же вышел. Его ожидала на этой станции жена. Они успели до возвращения фельдъегеря (который, вероятно, все знал, но не хотел показать то) видаться несколько минут в сенях. Когда он вышел к нам и объявил, что лошади готовы, мы стали медленно собираться, чтобы дать время Фонвизиным подолее побыть вместе.

Дорогой Фонвизин рассказал мне, что жена его узнала и сообщила ему, что везут нас в Иркутск, и передала 1000 рублей, которых достанет нам и на дорогу, и на первое время в Сибири».

Ей бы хотелось двинуться в путь тут же, но была причина, по которой Наталья Дмитриевна не могла этого сделать: она ждала ребенка.

Оставив сыновей на попечение своих родителей и добрейшего Ивана Александровича Фонвизина — его освободили из-под стражи за неимением улик, — она выезжает из столицы. Вот уже последняя застава позади, вот полоса леса отрезала город. Ее окружают деревья, она понимает и чувствует их, как живые суще-

ства, она говорит с ними, и они снимают тяжесть с души ее, обволакивают добрым зеленым шумом.

«Виды природы, тишина полей и лесов всегда на меня действуют. Особенно я люблю воду! Не знаю отчего, но когда я вижу реки или озера, мне становится тоскливо по небесной отчизне.

Как птица, вырвавшаяся из клетки, полечу я к моему возлюбленному, делить с ним бедствия и всякие скорби и соединиться с ним снова на жизнь и смерть».

29 февраля 1828 года, из Иркутска:

«Сегодня поутру был у меня городничий, потребовал документы мои, спросил... известны ли мне правила; я ему отдала их; велел разложить все вещи. Завтра, думаю, будут их осматривать... Знаете ли, милый мой, как нас здесь притесняют, грабят, насильно берут все, что им понравится... Как притесняют несчастных провожающих нас людей безжалостно.

...Вчера тщетно прождала я губернатора, да и долго, говорят, буду дожидаться, если не подарю что-нибудь, а мне дарить нечего. Ради бога... прищлите мне что-нибудь просто по почте. Только не золотую вещь, а например сукна на платье самого лучшего, или вроде этого что-нибудь, а то он, говорят, и на счет переписки и всего будет притеснять ужасно, а вы писать к нему можете так, чтобы он понял, что это для него...

5 часов вечера. Наконец... все кончено, сегодня в 11 часов утра был смотр... Я вам уже писала, что меня провожал чиновник из Тобольска по особым поручениям, чего с прочими никогда не было (тобольским губернатором был дядя Фонвизиной — Д. Н. Бантыш-Каменский, автор широко известной книги «Словарь достопамятных людей русской земли». Увидев, что состояние здоровья Натальи Дмитриевны неблагоприятно, он, для облегчения ей дороги командировал с ней в Иркутск чиновника Попова. — М. С.) Так как

у всех здешних совесть не очень чиста и были на них уже жалобы в России, то им тотчас представилось, что этот чиновник прислан за ними присматривать, что может быть и справедливо... Явился губернатор со всем синклитом своим, которые при виде Попова оцепенели все и стояли как вкопанные у дверей, не смея прикасаться даже к вещам... Губернатор был со мною отменно вежлив, оставив мне часть денег, что с прочими ни с кем не делал, к вещам даже не подходил, только что просил меня подписать реестр, что более в нем означенного при мне не находится... Он даже деньги оставил мне. Другие все более, но уже не менее 12 дней проживали здесь и никто легко не отделывался».

Письмо это, адресованное брату Фонвизина Ивану Александровичу, было перехвачено и попало к Бенкендорфу, так что Наталья Дмитриевна понапрасну ждала исполнения своих просьб.

«Фонвизина, — пишет в своих «Записках» Волконская, — приехала вскоре после того, как мы устроились; у нее было совершенно русское лицо, белое, свежее, с выпуклыми голубыми глазами; она была маленькая, полненькая, при этом — очень болезненная; ее бессонницы сопровождались видениями; она кричала по ночам так, что слышно было на улице».

Эта ее болезнь весьма тревожила и мужа, и его друзей, она служила поводом для разговоров, и каждая из жен декабристов не раз мысленно представляла и себя в такой же нервной вспышке, больной и беспомощной.

Декабрист Александр Одоевский посвятил Наталье Дмитриевне проникновенные строки:

Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна

Тебе, страдальца младая?
Уже давно заснули небеса;
Как усыпительна их сонная краса
И дремлющих полей недвижность ночная!
Спустился мирный сон, но сон не освежит
Тебя, страдальца младая!
Опять недуг порывом набежит,
И жизнь твоя, как лист пред бурей задрожит!
Он жилы нежные, как струны натягая,
Идет, бежит, по ним ударит; и в ответ
Ты вся звучишь и страхом и страданьем;
Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем,
И по листу срывает жизни цвет...

Началось великое кочевье: декабристов переводили из Читы в Петровский завод, где к лету 1830 года было закончено строительство тюрьмы.

«Вы себе представить не можете этой тюрьмы, — писала Фонвизина Ивану Александровичу, — этого мрака, этой сырости, этого холода, этих всех неудобств. То-то чудо божие будет, если все останутся здоровы и с з д о р о в ы м и г о л о в а м и».

21 ноября 1832 года у них родился сын. Наталья Дмитриевна из каземата уже прочно переехала в свой дом, хотя теперь-то осталось немного времени до отъезда: Михаил Александрович был осужден по четвертому разряду, после сокращений срока, «даруемых» высочайшими манифестами по поводу праздничных событий в императорской семье, ему в 1833 году предстояло отправиться на поселение. Но Фонвизины вынуждены были провести в Петровске еще год — Михаил Александрович тяжело заболел — открылись, уже в который раз, его старые фронтовые раны.

Сын их учился ходить, мать жадно вслушивалась в его лепет, радовалась его первым словам, умилялась, как и всякая мать. Потеряв надежду увидеть оставлен-

ных в Москве детей, она всю страсть сердца своего, все надежды связала с малышом.

Они уехали в марте 1834 года вдвоем.

И всю дорогу от Петровска до Енисейска, куда им указано было выйти на поселение, она молилась, и перед глазами ее стоял маленький, заметенный февральским снегом холмик на склоне кладбищенской горы, маленький холмик рядом с могилой Александрины Муравьевой.

«Енисейск, — вспоминает Мария Францева, — довольно большой и красивый город. В нем много церквей, два монастыря, один мужской, другой женский, много каменных домов и прекрасная набережная... Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый, грубый. Все удовольствия для них заключались в вине и картах. Бывало, празднуют именины дня три, пьют и кутят целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращаются и кутят. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становится невыносимо».

Жизнь в Енисейске была однообразна и скучна. Город к тому времени уж и позабыл, что некогда был столицей гигантского края, едва покинули его чиновники и высокопоставленные власти, как он затих, обмелел, стал типичным уездным городком с пьянством, картами, с редкими танцевальными вечерами, с нередкими убийствами и пожарами, о которых рассуждали по году, а то и по два, находя все новые подробности, насмехаясь над чужим горем, завидуя чужой радости.

К Фонвизиным тянулась молодежь, у них было как бы просторнее, чище. Рассказы немолодого уже генерала о военных операциях, вдохновенные речи «дамы в черном» (так енисейцы прозвали Наталью Дмитри-

евну за пристрастие к темным одеждам) — все это было необычно, привлекало, заставляло с ужасом глядеть на окружающую действительность.

Наталя Дмитриевна тяжело переносила северный климат, она все время недомогала, нездоровье больно отозвалось в их судьбе, два ребенка родились мертвыми. Они ждали третьего...

«Когда после шестилетней каторги, — пишет Францева, — Фонвизины были поселены (в Енисейске), то в отдаленном уездном городе неразвитые и грубые уездные власти с высокомерием стали обращаться с ними. Особенной невежественностью отличался непосредственный его начальник некто Т-ов. Все получаемые письма из России доставлялись не иначе, как через него, он их прежде сам прочитывал, а потом уже передавал кому следует. Михаил Александрович должен был ходить за ними к нему, и он не удостаивал даже своеручно их передавать, а только указывал рукой на лежащие на столе письма, тот брал их и уходил. Грубое это обращение продолжалось до приезда из Красноярска губернатора, который, как только приехал, тотчас же посетил сам Фонвизины, и Михаил Александрович передал ему, как грубо власти обращались с ним. Губернатор пригласил Михаила Александровича на официальный к себе обед, за которым посадил его около себя и большей частью разговаривал во время обеда с ним, что немало изумило властей. Т-ов после отъезда губернатора совершенно изменился в своем обращении с Михаилом Александровичем, и чтобы выказать свое благорасположение, стал зазывать и поить его силой на своих пьяных пирушках. Михаил Александрович перестал бывать у него, начальник не унимался, желая, вероятно, загладить свое

прежнее грубое обращение; зазвав его однажды к себе, велел запереть ворота и не выпустил от себя до самого утра другого дня».

Больная, слабая Наталья Дмитриевна провела ночь в тревоге за мужа: где он? что с ним? жив ли?

Михаил Александрович любил детей. Даже в нежности его к жене был оттенок отцовский. Он привязался, как к родной, к дочери енисейского исправника Францева — Машеньке, которой тогда было шесть лет. Она на всю жизнь сохранила доброе чувство к благородному генералу, ее любовь к Фонвизиным была столь велика, что когда их перевели в Тобольск — ее отец согласился не уезжать из Тобольска, остаться там в должности прокурора, чтобы не разлучаться со своими друзьями и воспитателями его дочери. Марии Дмитриевне Францевой обязаны мы знанием многих страниц жизни декабристов в Сибири и особенно семьи Фонвизиных.

Плохое состояние здоровья Натальи Дмитриевны заставило Ивана Александровича Фонвизина собрать в Москве консилиум из трех известных докторов, которые обсудили все представленные им сведения о заболеваниях Фонвизиной и пришли к выводу, что дальнейшая жизнь в северных широтах может убить их заочную пациентку.

Только после этого, в марте 1835 года Фонвизиним разрешено было переехать в Красноярск, а еще через три года — в Тобольск.

«Мы приехали в Тобольск, — вспоминала Наталья Дмитриевна в письме к протоиерею Стефану Знаменскому. — И приехали в ночь, в грязь, слякоть, и вы-

ехали с горы, и въехали в темный, унылый и низкий дом, который и на тебя произвел такое тягостное впечатление в последний твой приезд...»

В Тобольске у Фонвизиных значительно расширился круг общения — здесь жил Александр Муравьев с женой, они перебрались в Тобольск после смерти Никиты, здесь находились на поселении Анненковы, здесь бывали проездом знакомые из Петербурга и Москвы, с которыми удавалось обмолвиться словечком о делах столичных, о друзьях и близких, обо всем, что теперь было так далеко и невозвратно. Жили они скромно, но были радушными и гостеприимными хозяевами. Наталья Дмитриевна любила угощать, но столом всегда занимался Михаил Александрович — он был искуснейший кулинар, знал способы приготовления такого количества разнообразных блюд, что повар, поступая к ним в услужение, поначалу ходил у генерала в учениках.

Когда переехали в Тобольск Францевы, в доме Фонвизиных стало теплее; Машенька к тому времени была уже почти барышней, каждый свободный час проводила она в беседах с генералом, который стал ее наставником, и в загородных прогулках с Натальей Дмитриевной. Был у Фонвизиных еще один воспитанник. «Подружившись, — вспоминает Францева, — с тобольским протоиереем, Степаном Яковлевичем Знаменским, очень почтенным и почти святой жизни человеком, обремененным большой семьей, они взяли у него на воспитание одного из сыновей, Николая, который жил у них, продолжая учебу свое в семинарии. По окончании же курса, они доставляли ему возможность пройти в казанской духовной академии курс высшего образования... Затем они воспитывали еще двух девочек, которых потом привезли с собою в Россию и выдали замуж».

Известный сибирский художник Михаил Знаменский вспоминает о Фонвизинах:

«С того времени, как я начал помнить себя, и до 23 лет я был с ними. И если теперь подлость, низость и взятки болезненно действуют на меня, то этим я обязан лицам, о которых всегда говорю с почтением и любовью.

Мы жили тогда бедно, и Фонвизины старались помочь нам, чем могли. Помню, в это время отца перевели на службу в город Ялуторовск. Отцу не хотелось отрывать моего старшего брата Колю от наладившегося уже учения. Тогда Фонвизины предложили отцу взять Колю к себе на воспитание. Отец согласился.

Наталья Дмитриевна долго говорила с отцом. Потом позвали брата Колю, велели ему одеться, и он уехал с Натальей Дмитриевной. Возвратился он вечером, запыхавшись.

— Вы уезжаете в Ялуторовск, — говорил он торопливо, — а я остаюсь... Буду жить у Натальи Дмитриевны. У них дом большой... сад... цветы... книги с картинками. В одной книге они все нарисованы: Михаил Александрович тележку везет, тачку, а вблизи солдаты с ружьями...

Коля принес сладких, хороших конфет в узелке и поделился с нами».

В те дни, недели и месяцы, когда жизнь текла более или менее размеренно, они оба много работали. Наталья Дмитриевна ночью и рано утром писала заметки, занималась в саду. Михаил Александрович написал в Тобольске свои «Записки» и целую серию работ, в том числе «О крепостном состоянии земледельцев в России» и «О коммунизме и социализме», где доказывал,

что, уничтожая крепостное право, необходимо освободить крестьян с землей, иначе всякий разговор об освобождении — обман.

Некая предвзятость между декабристами и новыми революционерами, поднимающимися им вослед, некое взаимное непонимание существовали. Интересно, что жены декабристов сыграли положительную роль в разрушении этого барьера, у них на это было больше возможностей, чем у состоящих под недремлющим надзором мужей.

Процесс разрушения неприязни этой хорошо описан Натальей Дмитриевной в тайно пересланном Ивану Александровичу письме от 18 мая 1850 года:

«Пишу вам с верною оказиею, друг мой братец, а потому могу обо всем откровенно беседовать...

...Недавно случилось мне сойтись со многими страдальцами, совершенно как бы чуждыми мне по духу и убеждениям моим сердечным. Признаюсь, что я даже не искала с ними сближения. Другие из наших и Michel приняли деятельное участие в их бедствиях. Снабдили всем нужным — и сношения сначала только этим и ограничивались. Между тем они были предубеждены против всех нас и не хотели даже принимать от нас помощи, многие, лишенные всего, считали несчастьем быть нам обязанными. Социализм, коммунизм, фурьеризм были совершенно новым явлением для прежних либералов, и они дико как-то смотрели на новые жертвы новых идей. Между тем говорили о доставлении денег главному из них, Петрашевскому, который содержался всех строже — доступ ко всем к ним был чрезвычайно труден... Обращаются ко мне с вопросом: нельзя ли мне попробовать дойти до бедного узника? Дом наш в двух шагах от острога. Не думавши много, я отвечаю: «Если считают нужным, попробую». Я даже не знала и не предполагала, как это

сделать, — возвратясь домой, на меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него. Взявши 20 рублей серебром, я отыскала ладонку бисерную, зашила туда деньги и образок, привязала шнурочек и согласила няню (Матрена Петровна Нефедова, приехавшая с Фонвизиной в Сибирь. — М. С.), не говоря никому, на другой день идти в острог к обедне и попытаться дойти до узников — так и сделали. У няни в остроге есть ее знакомый, к которому она иногда ходит. Мы послали арестанта позвать его в церковь — я посоветовалась с ним. Смотритель и семейство его были уже в сношении с нашими по случаю передачи съестных припасов, белья и платья нужного... Отправивши няниного знакомого для разведывания в больницу, где был Петрашевский, я молилась и предалась на все изволения божии, самое желание видеть узников не иначе считая, как его внушением. Няниного знакомого зовут Кашкадамов — он возвратился, говоря, что можно попробовать дойти туда под видом милостыни. После обедни, как я запаслась мелкими деньгами, — не подавая виду, я объявила, что желаю раздать милостыню, и отправилась прямо в больницу. Боже мой, в каком ужасном положении нашла я несчастного! Весь опутан железом, больной, истощенный. Покуда няня раздавала милостыню, я надела на него ладонку с деньгами и обменялась несколькими словами. Если он поразил меня, то, узнав мое имя, и я его поразила. Он успел сказать мне многое, но такое, что сердце мое облилось кровью, — я не смела показать ему своей скорби, чтобы она не казалась ему упреком... Он уже и так был в крайнем бедствии. Но насилу устояла на ногах от горя, несмотря на то, не знаю, откуда взялась у меня нравственная сила

отвечать спокойно на вопросы его, и искренно — право, искренно благодарить его за участие...

Видимо, разговор у них был о сыне Фонвизиных — Дмитри: он был петрашевцем, и приказ на его арест был уже подписан Дубельтом. Но Дмитрия, вероятно на время, спас отъезд в Одессу, куда он отправился по совету знаменитого Пирогова излечиваться от туберкулеза.

«То, что сказал он (Петрашевский) мне.., относилось прямо ко мне, а не к нему, и поразило меня страшным горем... От него я вышла сама себя не помня от жгучей и давящей сердце скорби и в сопровождении Кашкадамова отправилась в другие отделения для раздачи (милостыни). Пришла в одну огромную удушливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения воздуха и сырости пар валил, как вот от самовара, — напротив дверь с замком и при ней часовой. Покуда няня говорила с Кашкадамовым, у меня мелькнула мысль — я сунула ей деньги мелкие и, сказав, чтобы раздала, выскочила — прямо к часовому: «Отвори, пожалуйста, я раздаю подаяние». Он взглянул на меня, вынул ключ, и, к великому моему удивлению, отпер преравнодушно и впустил меня. Четверо молодых людей вскочили с нар. Я назвала себя... Я уселась вместе с ними, и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу — я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня. Но вот что странно, что они, узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас — и не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в моем горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши отношения, и мы, как давно знакомые, разболтались».

Вот она сидит на тюремной койке. Мать, потерявшая всех рожденных в неволе детей. Теперь беда гро-

зит ее первенцу, так давно покинутому. Ему предстоит пройти все, что прошел его отец, — и крепостные камеры, и допросы с применением насилия, и кандалный путь в Сибирь... Какой он, Митя? Быть может, похож на кого-нибудь из этих вот молодых, измученных людей? Она разговаривала с ними, утешала их, как могла бы утешать сейчас сына...

«Часовой заблагорассудил запереть меня с ними, видя, что я долго не выхожу. Няня, между тем, окончив свое дело, осталась с Кашкадамовым в сенях разговаривать. Мне так было ловко и хорошо с новыми знакомыми, что я забыла о времени. Между тем смена команды — и офицер новый. Часовой ни слова не говоря сдал ключ другому. Мы слышали шум и говор, но не обратили внимания — вдруг шум усилился, слышим, отпирают, и входят дежурный офицер с жандармским капитаном... но подивитесь, что я не только не испугалась, но даже не сконфузилась и, привстав, поклонилась знакомому жандарму, назвав его по имени. Мне и мысли не пришло никакой о последствиях. Жандарм потерялся, стал расспрашивать о М(ихаила) А(лександровича) здоровье, я сказала, что была у обедни и зашла спросить у господ, не нужно ли им чего на дорогу. Смольков, жандарм, говорил мне после, что моя смелость так его поразила, что он решился содействовать нам — и сдержал слово. Я было хотела и к последним пробраться, но было уже поздно... После этого нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их *своими*».

Пользуясь знакомством с тюремным смотрителем и тем, что Мария Францева — дочь прокурора, Наталья Дмитриевна упросила смотрителя пригласить их к себе. Так произошло ее знакомство с Достоевским.

Придет время, и он опишет в «Дневнике писателя» волнующий, оставивший впечатление на всю жизнь вечер в Тобольске. А пока он стоит растерянный, щурится от света, пожимает руки товарищам, а друг его по несчастью — Дуров разговаривает с Фонвизиной. Человек, в жизни своей не знавший тепла и участия родных и близких, Дуров только разве в детстве был обласкан материнским вниманием почти незнакомой женщины — это была княгиня Волконская. Вещее сердце Натальи Дмитриевны почувствовало его одиночество, он ей показался сыном, ведь их с Дмитрием Фонвизиным объединяло *одно дело*, и, чтобы иметь возможность помогать Дурову и Достоевскому, Фонвизина тут же объявила, что Дуров — ее племянник. Все легко поверили маленькой лжи, они и впрямь производили впечатление хорошо знакомых, давно не видевшихся людей. Такая уловка позволила Фонвизинной чаще видаться с заключенными до самой их отправки в глубины Сибири.

«Узнав о дне их отправления, — вспоминает Францева, — мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтоб не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания.

Долго нам пришлось прождать запоздалых путников: не помню, что задержало их отправку, и 30-градусный мороз порядочно начал нас пробирать в открытом поле. Прислушиваясь беспрестанно к малейшему шороху и звуку, мы ходили взад и вперед, согревая ноги и мучаясь неизвестностью, чему приписать замедление. Наконец, мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась

тройка с жандармом и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу и, когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров. Первый был худенький, небольшого роста, не очень красивый собой молодой человек, а второй лет на десять старше товарища, с правильными чертами лица, с большими черными задумчивыми глазами, черными волосами и бородой, покрытой от мороза снегом. Одеты были они в арестантские полушубки и меховые малахаи, вроде шапок с наушниками; тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтоб кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними; и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди.

Они снова уселись в свои кошевые, ямщик ударил по лошадам, и тройки помчали их в непроглядную даль горькой их участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не посиневшие от холода домой».

М. Д. Францева:

«После многолетнего страдания декабристов, наконец, некоторым из них начало улыбаться счастье; ко многим, получив разрешение, стали приезжать на свидание из России сыновья.

Фонвизиним тоже предстояла эта радость; их сыновья также принялись хлопотать о разрешении приехать в Сибирь, но!.. Старший их сын вдруг заболел, отправился в Одессу лечиться и скончался там на руках одних своих друзей, на 26-м году жизни; это было в 1850 году. Младший же брат его, Михаил Михайлович, юноша не особенно крепкого здоровья, так был дружен со своим старшим братом, что после его потери через 8 месяцев приехал на могилу брата и испустил

дух в той же семье, где умер брат его, и лег с ним рядом...

Трудно описать скорбь несчастных родителей, когда до них дошли в Сибирь эти печальные вести. Каждый отец, каждая мать поймут это сердцем лучше всякого описания. Потеря первенца хотя и отозвалась тяжело в сердце родителей, но все же оставалась еще надежда увидеть другого сына. Но никогда не изгладится из моей памяти почтенная фигура старика, отца, пораженного новым тяжким горем, в минуту получения известия о смерти второго и последнего сына...

В России, на милой родине, у них оставалось теперь одно только дорогое сердцу существо — это горячо и нежно любимый брат Фонвизина, Иван Александрович, который и стал просить разрешения приехать в Сибирь на свидание с несчастным братом. Получив позволение, он тотчас же пустился в путь и приехал в Тобольск летом 1852 года. Радость свидания братьев после такой многолетней разлуки была беспредельна! Иван Александрович прожил в Тобольске 6 недель и спешил назад в Россию, чтобы хлопотать о возвращении из Сибири брата-изгнанника.

Вся зима прошла в этих хлопотах, и наконец через содействие шефа жандармов князя Алексея Федоровича Орлова он достиг желаемого. В феврале 1853 года императором Николаем было подписано разрешение о возвращении из ссылки Михаила Александровича Фонвизина. Это был единственный декабрист, возвращенный прямо на родину Николаем Павловичем».

В Сибири спорая весна. Еще вчера лежал рыхлый, ноздреватый снег, а сегодня его точно лачком сбрызнули: горит на солнце, кремовый, гладкий. И пошло:

почти летняя жара перемежается с морозом, что не стонят с земли ослепительные дневные лучи, то вымораживает ночная стужа. И потекло, и запело, и забурлило. Все вдруг, все враз, ни постепенности, ни степенности — земля, как медведь сибирский, разрывает белый покров берлоги, выглядывает на свет рыжая, с подпалинами прошлогодних листьев.

В такую пору по сибирским дорогам пускаться в путь — мученье: дороги развезло, а реки вот-вот взорвутся.

И решено было, что Михаил Александрович выедет в мае.

Но из Москвы пришли взволнованные письма: Иван Александрович заболел.

Тревога поселилась в доме Фонвизиных: сколько уж было потерь, неужто ждать еще одну? А письма были все безнадежнее, безнадежнее. Медлить, выходит, нельзя.

15 апреля 1853 года, не обращая внимания на распутицу, Михаил Александрович, семидесятилетний старик, выезжает один, без жены, в сопровождении жандарма, в простой телеге на перекладных. Только бы успеть.

Только бы успеть!

Чуть не весь Тобольск вышел на берег Иртыша проводить опального генерала. Вот телега спустилась с берега, вот осторожно лошади ступили на лед, залитый весенней талой водой. Колеса до осей утонули, на берегу все примолкли и не проронили ни слова, пока, наконец, телега не въехала на противоположный берег.

Потом началась грязь, телегу мотало из стороны в сторону, копыта лошадей скользили по жидкой глине,

и снова переправа через Иртыш. Возницы отказались наотрез ехать дальше: вода со льда ушла, стало быть, вот-вот вскрыется река. Фонвизин решился перейти реку пешком: только бы успеть, только бы застать брата в живых! Он уже дошел до середины, когда лед тронулся. Все мужество свое собрал старый генерал, чтобы не растеряться, и, перескакивая со льдины на льдину, в холодном поту добрался он до противоположного берега.

Одиннадцатого мая он был уже в Москве, жандарм препроводил его к дому генерал-губернатора, там разрешили, наконец, отправиться в дом брата.

Фонвизин спешил зря: брата уже не было в живых.

24 часа разрешили ему пробыть в Москве, менее часу на каждый год, прожитый в Сибири!

Пришли родственники, друзья, не забыл — проведal его в горькую минуту бывший военачальник Ермолов.

Жандарм знал свою службу, и ровно через сутки все та же казенная телега уже везла Михаила Александровича в имение его покойного брата село Марьино, Бронницкого уезда, что в пятидесяти верстах от Москвы.

4 мая выехала из Тобольска Наталья Дмитриевна. Она не знала, добрался ли муж ее до Москвы, а вот что ждет его по прибытии горе — знала, ибо через три дня после его отъезда, когда был он еще в самом начале пути, пришло, разминувшись с ним, письмо о смерти Ивана Александровича. Ушел в иной мир человек, последний и лучший из тех, кто привязывал их к родным местам, горе погасило радость возвращения, а тяжесть дороги настраивала на печальный лад. Роди-

тели с болью сердечной отпустили Машу Францеву, получив от нее обещание, что вернется она в Тобольск через год. Ехали с Фонвизиной няня и две девочки — воспитанницы. Сопровождал женщин жандарм, и сейчас он был, можно сказать, уместен — он был и защитником и помощником в дороге.

К чему не привыкает человек! Наталья Дмитриевна могла бы сейчас сознаться, что ей легче было бы вернуться в Тобольск, где хоть и тоскливо, но привычно все — и люди, и улицы, и дома, и нравы, чем двигаться вперед, навстречу неизвестности. Кто не знает правила: едва пытаемся мы покинуть место, что казалось нам неприветным, как внезапно все лучшее, прекрасное и доброе, что столь долго оставалось в тени, казалось случайным, раскрывается пред нашим внутренним взором, как важное и главное, такое, что уже не повторится. Да и кто знает, как нас встретят там, куда мы стремимся. Должно быть, именно эти размышления заставили Наталью Дмитриевну записать в дневнике:

«На Урале мы остановились у границы европейской, означенной каменным столбом. Как я кланялась России когда-то, въезжая в Сибирь, на этом месте, так поклонилась теперь Сибири в благодарность за ее хлеб-соль и гостеприимство. Поклонилась и родине, которая с неохотой, как будто мачеха, а не родная мать, встретила меня неприветливо; сердце невольно сжалось каким-то мрачным предчувствием, и тут опять явилась прежняя тревога и потом страх. И время то было ненастное, так что все пугало».

Вполне порядочные в те времена сибирские дороги сменились бездорожьем; распутица, ослизлые спуски, крутые тяжелые подъемы, дождь, перемежающийся со снегом, и редкое — как жалкий подарок — солнце среди хмурых туч. А тут еще перед Казанью сильный

ветер вздыбил подсохшую на пригорках землю, поднял в небо ошметки прошлогодних листьев и жухлой травы и бросил все это на маленький беспомощный обоз, «точно Россия гневалась, что мы, непрощенные гости, против желания ворвались к ней на хлебы».

Боль в сердце все нарастала, все тревожней казалось будущее, то самое, что долгих двадцать пять лет было желанным, что питало душу надеждой — «душа изнывала от тоски».

«Из Нижнего, — записывает далее Фонвизина, — мы поехали в более спокойном расположении духа, но отнюдь не в веселом настроении, напала какая-то неловкость; душа была точно вывихнутая кость, как будто не на своем месте; все более и более становилось нам жаль Сибири и неловко за Россию; впереди же не предвиделось радости. Из Нижнего поехали по шоссе; но что за лошади, а главное — что за ямщики! и ангел потерял бы с ними терпение... О, нет! Сибиряки ангелы, если сравнить их с здешними. Они умны, смышлены и скрытны. Ну, да кто и без греха? но все же у них есть хотя местечко простое, чистое, а здесь?.. здесь все пусто, все заросло крапивой, полынью и репейниками, и едва ли Белинский не прав: ни в священниках, ни в народе нет религиозного чувства! Пошли разные притязания со стороны ямщиков, старост и притеснения со стороны зрителей — и увы! последнее очарование насчет родины исчезло!

25 мая в четыре часа утра, в понедельник, я как-то ожидала чего-то особенного от вида Москвы после двадцатипятилетнего изгнания в стране далекой. Между тем, мне показались сновидением и въезд в Москву, и проезд по городу: ни весело, ни грустно, а равнодушно как-то, как во сне. Я полагаю, что Тобольск увидела бы теперь с большей радостью».

Слишком велика была эта разлука!

...Они приехали в Москву, ваясь с ног от усталости. Особенно плохо чувствовала себя Наталья Дмитриевна. Но едва ступили они на порог дома покойного Ивана Александровича, как явился чиновник с требованием генерал-губернатора графа Закревского: немедленно покинуть Москву. Наталья Дмитриевна просила разрешения хоть переночевать в старой столице — столько километров пришлось трястись на перекладных, — но чиновник был неумолим: Николай I не мог простить этой немолодой уже, усталой и тяжело больной женщине, потерявшей все самое дорогое в жизни, ее отважного решения нести свой крест — он боялся, что разнесется слух о приезде Фонвизиной, что на свидание с ней соберется вся Москва!

Марьино, Марьино!

Именно здесь когда-то молоденький адъютант генерала Ермолова решил попариться в баньке, а когда французы вошли в деревню — бежал, переодевшись в крестьянскую одежду.

Когда это было! Да и было ли?

Неуютно в Марьине Михаилу Александровичу, здесь распоряжается свояченица покойного Ивана Александровича — Екатерина Федоровна, дама бесцеремонная и беспардонная. Здесь лакействовала дворня, тогда как в Сибири между декабристами и теми, кто служил у них, сложились почти родственные отношения.

Все претило здесь и Наталье Дмитриевне. Но будучи женщиной с характером открытым и прямым до резкости, она высказала Екатерине Федоровне в глаза все, что думала о ней, и нажила себе еще одного врага.

В довершение всего тяжело заболевает Михаил Александрович. Он еще в полном уме, и всем окружающим кажется, что старый генерал еще выживет, но он-то знает, что все уже безвозвратно. У постели его попеременно дежурят Наталья Дмитриевна и Маша Францева.

«Какой завтра день, почтовый? Вы будете писать им в Тобольск? — и, не дав мне ответить, продолжал: — Теперь выслушайте мою последнюю просьбу: напишите и передайте, пожалуйста, всем моим друзьям и товарищам, назвав каждого по имени, последний мой привет на земле...»

И когда Маша исполнила эту его просьбу, добавил:

«Другу же моему, Ивану Дмитриевичу Якушкину, кроме сердечного привета, передайте еще, что я сдержал данное ему слово при получении от него в дар, еще в Тобольске, этого одеяла (он был покрыт вязаным одеялом, подаренным ему Якушкиным), обещая не расставаться с ним до смерти. А вы сами видите, как близок я теперь к ней!»

30 апреля 1854 года его не стало.

«С раннего утра несметные толпы крестьян из окружающих деревень собрались отдать последний долг человеку, страдавшему за идею об их освобождении. До самого собора в Бронницах гроб несли на руках свои крестьяне, вереница экипажей с родными и знакомыми тянулась по проселочной дороге. Мы же все шли пешком за гробом отлетевшего нашего друга».

Новый поворот в судьбе Фонвизиной начинается с поездки Натальи Дмитриевны по своим дальним костромским имениям: ее натура не может примириться с горем, ей нужно действие и еще раз действие. Она

ссорится с управляющими, пытается освободить крестьян или, по крайней мере, передать их в казну. Но силы и энергия постепенно оставляют ее. И все же она умудряется еще писать томящемуся в Петровском заводе Ивану Ивановичу Горбачевскому, оставшемуся там доживать век после каторги, шлет ему деньги в помощь, зовет поселиться в любом из ее селений. Она не забывает и друзей своих в Тобольске, в Ялуторовске, ведет оживленную переписку с Пуцциным, к которому всегда питала самую сердечную привязанность. Более того, тайком, сказавшись, что-де едет снова в свои костромские имения, она отправляется в обратный путь — в Сибирь!

Желание делать людей счастливыми, оказывать им помощь, вести по пути веры и правды все еще живет в ней неугасимо. Не это ли свойство ее души соединило ее в последние годы жизни с пушкинским другом Иваном Пуцциным? Их взаимная симпатия, большая и чистая дружба начались еще в Сибири: честность Пущина, присущее ему свойство хлопотать по чужим делам, забывая о своих, всегда импонировали Наталье Дмитриевне. Она пыталась даже — и неоднократно — устроить судьбу Пущина, женить его — благо попадались вполне достойные партии. И вот теперь они решили соединиться — два уходящих уже из суетного мира далеко не молодых человека.

В мае месяце 1857 года в имении друга Пущина — князя Эристова — Наталья Дмитриевна и Иван Иванович, тайком от знакомых, родных и близких, обвенчались.

«В церкви, — вспоминала потом Фонвизина, — мне казалось, что я стою с мертвецом: так худ и бледен был Иван Иванович, и все точно во сне совершалось. По возвращении из церкви, выпив по бокалу шампанского и закусив, мы поблагодарили хозяина за его

дружбу и радушие и за все хлопоты, отправились на станцию железной дороги и прямо, через Москву, на житье в Марьино, откуда уже известили всех родных и друзей о нашей свадьбе. Родные были крайне удивлены и недовольны, что все было сделано без их ведома».

Им уже тяжело было сложить разные манеры жизни, разные привычки в единое целое, жизнь их совместная была непростой, и завершилось их супружество трагически быстро. Через два года, в 1859 году, Пущин умер, его похоронили в Бронницах, рядом с Фонвизиным.

Наталья Дмитриевна не в силах была оставаться в Марьино. Она переехала в Москву, с трудом добившись разрешения там жить. На эти хлопоты ушли ее последние силы. Вдруг ее разбил паралич, смерть последовательно отняла у нее все: родителей, детей, мужа, друга, теперь она отняла у нее даже возможность молиться.

«Ты имеешь все права сетовать на меня, милая Машенька, что я до сих пор не отвечала тебе. Мое здоровье так расстроено, и так безотрадно проходит жизнь моя, что я почти как не живу в смысле жизни, голова отказывается работать, слова со своими значениями исчезают, и передать их в понятном смысле почти не в состоянии и чрезвычайно меня утомляет, а потому прошу тебя, не взыщи с меня, убогой и больше, чем когда-нибудь неключимой рабы, эта неключимость сокрушает меня и унижает. Никакой болезни не могут определить и лечиться от чего — не знаю и что со мной — не ведаю».

Она умерла 9 октября 1869 года. Перед кончиной взгляд ее был осмыслен, она хотела что-то сказать.

Что?



Прасковья Егоровна АННЕНКОВА (Полина Гебль)

Она была красавица, умная и во всех
отношениях образцовая женщина, парижанка.
В. С. Т о л с т о й, декабрист

Великий выдумщик и фантазер Александр Дюма говорил, как известно, что история для него — гвоздь, на который он вешает свою картину. Но история французки Полины Гебль, ее удивительная судьба, полная драматических событий и перипетий, достойных пера романиста, никак не была связана с эпохой Людовиков и коварных кардиналов — Полина была современницей писателя. Однако громадные расстояния, отделяющие бесконечную снежную Россию, Сибирь от

Парижа, разве не отдаляли они события равносильно векам?!

«Вопреки уверениям Александра Дюма, который в своем романе «Записки учителя фехтования» говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами», — вспоминала его героиня, диктуя дочери уже в преклонные годы свои «Записки». Впрочем, напутал великий фантазер не только в этом эпизоде. В тексте романа Полина Гебль превратилась в Луизу Дюпюи, а муж ее, декабрист Иван Александрович Анненков, в Алексея Ванникова, автор лишил Полину матери, зато самодурку и крепостницу Анненкову, эгоистичную и безалаберную женщину, превратил в нежнейшую мать, понимающую сына своего — декабриста, заботящуюся о нем, о его невесте.

И все же не эти неточности и несовпадения составили суть романа Дюма, тем более что он писал не очерк жизни, а художественное произведение, и был вправе фантазировать, менять, домысливать... Иначе вряд ли произошел бы эпизод, описанный самим Дюма:

«Однажды царица уединилась в один из своих отдаленных будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь, и вошел император Николай I. Княгиня, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, задрожавшей при его появлении, спросил:

— Вы читали?

— Да, государь.

— Хотите, я вам скажу, что вы читали?

Императрица молчала.



— Вы читали роман Дюма «Записки учителя фехтования».

— Каким образом вы знаете это, государь?

— Ну, вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил...»

В том-то и дело, что это была отнюдь не картина, созданная воображением писателя и повешенная на гвоздь истории, — издалека, за тысячи верст, через границы и снега рассмотрел писатель подлинный дух российского самодержавия, ужас крепостничества, героизм тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. Среди них был и поручик кавалергардского полка Иван Александрович Анненков.

В марте 1826 года ему исполнилось двадцать четыре. День рождения встретил он в камере Петропавловской крепости. О чем думал он, сидя на жесткой койке своей в этот день: о матери, не принявшей никаких мер для облегчения участи сына? О прошлой вольготной и суетной жизни? О холостяцких армейских пирушках? Облаках, плывущих над кронами приволжских ветел?

Да, облака, и шум ветра, и гомон птиц в вершинах деревьев, и женщина, положившая голову ему на колени, глядящая в небо и поющая милую, пахнущую детством французскую песенку...

Она родилась в Лотарингии, близ Нанси, в старинном замке Шампаньи, 9 июня 1800 года. Ее отец был роялистом, приверженцем монархии. В 1793 году он вместе с другими военными вышел ночью на главную площадь города Безансона, где стоял их драгунский полк, с криками «Да здравствует король!». Разъяренный народ, схватив молодых офицеров за косы — тогда в армии полагалась такая прическа, — начал изби-

вать, роялистов. Кончилось все это казнями и крепостью. Только падение республики и гибель Робеспьера спасли его от верной смерти. В 1802 году отец Полины благодаря многочисленным протекциям и ходатайствам был принят на службу Наполеоном. Человек безупречной честности, сеньор Поль вскоре завоевал уважение среди сослуживцев. Однако, желая разбогатеть, поддержать семью, он отправляется в Испанию. Вскоре семья начинает получать бодрые, обнадеживающие письма о том, как хорошо он принят в Испании, но переписка вдруг оборвалась — и сеньор Поль и сопровождающий его человек пропали без вести.

«Матери моей, — вспоминает Полина, — было 27 лет, когда она осталась вдовою с четырьмя детьми. Она имела свое состояние, но по французским законам не могла распоряжаться им, потому что отец не оставил ни духовной, ни доверенности, а мы были малолетними.

Состояние перешло в руки опекунов».

Опекуны распоряжались деньгами по-своему: семья выпрашивала их, точно милостыню, жизнь становилась все невыносимее, и Полина со старшей сестрой вынуждены были зарабатывать вышивкой и шитьем, чтобы помочь матери прокормить семью. А мать занемогла, ей становилось все хуже... Тут пришел 1812 год...

«Я видела знаменитую комету, предшествовавшую войне 1812 года, и помню, как французские войска отправлялись в поход, когда Наполеону вздумалось покорить всю Европу. В этом походе участвовал один из моих дядей — брат матери. Накануне своего выезда он ужинал у нас и, прощаясь с матерью, сказал:

— Бог знает, вернусь ли я, мы идем сражаться с лучшими в мире солдатами: русские не отступают.

Слова эти поразили меня: я пристально посмотрела

на дядю. Он как будто предсказал судьбу свою, потому что лег на поле Бородинской битвы.

Кто не был очевидцем того горя и отчаяния, которое овладело Францией после кампании 1812 года, тот не может себе представить, что за ужасное то было время! Повсюду слышались плач и рыдания. Не было семьи, которая не надела бы траур по мужу, сыну, брату... Начался целый ряд бедствий для всей Франции, и стоны и слезы увеличились, когда Наполеон сделал второй набор. Тогда забирали всех без исключения, не щадя и 17-летних юношей. В городе, где мы жили, не оставалось буквально ни одного мужчины, кроме стариков и детей».

И далее:

«Но страшнее и печальнее всего было видеть возвращение солдат... Солдаты шли в беспорядке, измученные, недовольные, убитые духом, проклиная того, кого сперва боготворили. Они были в таком изнеможении, что едва передвигали ноги и беспрестанно останавливались под окнами, чтоб попросить кусок хлеба или напиток».

За ними следом шла ужасная болезнь — чума... Поутру, когда отворялись окна, глазам представлялось ужасное зрелище: по улицам везде лежали мертвые тела или умирающие солдаты...

Между тем союзные войска продвигались.

Вся Франция трепетала».

Так впервые двенадцатилетняя Полина узнала о России.

Семья бедствовала. И мать искала способы избавиться от нужды. Полину чуть было не выдали замуж за нелюбимого человека. Уже все было готово к свадьбе. Спас, как это бывает порою, случай. Ее жених незадолго до свадьбы проиграл на бильярде уйму

денег. Полине удалось уговорить родных не отдавать ее замуж за человека, который сегодня проиграл деньги, а завтра «проиграет и меня, если я сделаюсь его женою».

Поиски счастья в Париже.

Семнадцатилетней Полине город показался неприглядным и неудобным. На три года был заключен контракт с торговым домом Моно, контракт жесткий, правила строгие — девушка без разрешения хозяев не могла отлучиться ни на минутку. Но срок договора истек, и Полина решила сама распорядиться своей судьбой. Ей советовали открыть свое дело, предлагали в кредит товар, но она приняла другое, неожиданное и удивительное решение — ехать в Россию.

«Какая-то неведомая сила влекла меня в эту неизвестную в то время для меня страну. Все устраивалось как-то неожиданно, как будто помимо моей воли, и я заключила... контракт с домом Демонси, который в то время делал блестящие дела в Москве.

Мать моя ужасно плакала, провожая меня... она мне напомнила один престранный случай, о котором в то время я совсем забыла.

Однажды в Сиен-Миеле, когда я сидела в кругу своих подруг, те шутили и выбирали себе женихов, спрашивая друг у друга, кто за кого хотел бы выйти; я была между ними всех моложе, но дошла очередь и до меня, тогда я отвечала, что ни за кого не пойду, кроме русского...

Я, конечно, говорила это тогда не подумавши, но странно, как иногда предчувствуешь свою судьбу.

С матерью простилась я довольно легко, несмотря на то, что страстно любила ее. Брат проводил меня

до Руана, где я должна была сесть на купеческое судно... был уже сентябрь 1823 года».

Так началось путешествие француженки Полины Гебль к сибирячке Прасковье Анненковой, путешествие от самой себя к самой себе...

«Вся Москва знала Анну Ивановну Анненкову, окруженную постоянно необыкновенною, сказочной пышностью, — пишет Полина в своих «Записках»... — Старуха была окружена приживалками и жила невозможною жизнью... Дом был громадным, в нем жило до 150 человек, составлявших свиту Анны Ивановны; парадных комнат было без конца, но Анна Ивановна никогда почти не выходила из своих апартаментов; более всего поражала комната, где она спала: она никогда не ложилась в постель и не употребляла ни постельного белья, ни одеяла. Она не выносила никакого движения около себя, не терпела шума, поэтому все лакеи ходили в чулках, и никто не смел говорить громко в ее присутствии. Без доклада к ней никто никогда не входил. Чтобы принять кого-нибудь, соблюдалось двадцать тысяч церемоний, а нередко желавшие видеть ее ожидали ее приема или выхода по целым часам... Комната, где она постоянно находилась, была вся обита малиновым штофом; посередине стояла кушетка под балдахином, от кушетки полукругом с каждой стороны стояло по шесть ваз из великолепного белого мрамора самой тонкой работы, и в них горели лампы. Эффект, производимый всей этой обстановкой, был чрезвычайный. В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет тоже необыкновенным способом: перед нею стояли шесть девушек, кроме той, которая ее причесывала; на всех шести девушках были надеты разные принадлежности туалета Анны Ивановны,

она ничего не надевала без того, чтоб не было согрето предварительно животной теплотой, для этого выбиралась все красивые девушки от 16 до 20 лет... Она спала на кушетке, на которую расстилалось что-нибудь меховое, и покрывалась она каким-нибудь салопом или турецкою шалью; на ночь она не только не раздевалась, но совершала даже другой туалет, не менее парадный, как дневной, и с такими же церемониями... На ночь в комнату Анны Ивановны вносились диваны, на которых помещались дежурные; они должны были сидеть всю ночь и непременно говорить вполголоса; под их говор и шепот дремала причудника, а если только умолкали, она тотчас же просыпалась».

Должно быть, потому, что Полине пришлось вступить в нравственный и психологический поединок с Анной Ивановной, ей через многие годы удалось так точно все припомнить, нарисовать поразительный портрет несметно богатой московской барыни, оградившей себя от мира, от его болей и радостей, заменившей подлинную жизнь выдуманной, с причудами и театрализованными ритуалами. Ее богатства были столь велики, что она могла позволить себе и не такое: единственная дочь Ивана Варфоломеевича Якобия (в годы царствования Екатерины II был он наместником Сибири, иркутским губернатором и не брезговал ни взятками, ни казнокрадством и, как говорится в «Иркутской летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова, «пробыл на этом посту шесть лет, удален от должности и подвергнут ответственности»), Анна Ивановна унаследовала его деньги, имения, горы серебряной и золотой посуды, сундуки с драгоценными сибирскими мехами, китайским шелком. Богатство ее удвоилось после замужества. Будучи девицей весьма разборчивой, Анна Ивановна довольно поздно сочеталась браком — почти в сорок лет. Муж ее — отставной капитан — вскоре

умер, оставив Анну Ивановну наследницей своего состояния. Нежелание претерпевать даже самые малые огорчения дошло у этой барыни до того, что, когда погиб на дуэли ее сын Григорий, ей решились сказать о его смерти только через год!

Анна Ивановна любила заезжать в магазины, где никогда не утруждала себя длительными расчетами. Если ей нравилась ткань — она покупала всю штуку, сколько бы метров в ней ни было: дабы у других дам высшего света не появилось платья из такого материала. Естественно, что модный магазин Демонси, где демонстрировались парижские моды, не мог не привлекать ее внимания. И вполне возможно, что иногда ее сопровождал Иван Александрович — во всяком случае, в середине 1825 года француженка Полина Гебль, старшая продавщица магазина Демонси, была уже знакома с поручиком кавалергардского полка Иваном Александровичем Анненковым.

Ему было двадцать три года, ей — двадцать пять. Он воспитывался дома, его преподавателями были француз Берже и швейцарец Дюбуа, затем Иван Александрович слушал лекции в Московском университете, но, не закончив курса, решил сдать экзамен при Главном штабе и вступить в привилегированный кавалергардский полк.

Известный историк М. С. Семеvский, знавший Анненкова, гостивший у него после возвращения Ивана Александровича из Сибири, так описывает юного декабриста:

«То был красавец в голном смысле этого слова не только в физическом отношении, но достойнейший в нравственном и умственном отношении представитель блестящего общества гвардейских офицеров 1820-х годов. Отлично образованный, спокойного, благородного характера, со всеми приемами рыцаря-

джентльмена, Иван Александрович очаровал молодую, бойкую, умную и красивую француженку, та страстно в него влюбилась и, в свою очередь, крепкими узами глубокой страсти привязала к себе Ивана Александровича Анненкова».

Впрочем, к ухаживанию красавца поручика молодая француженка отнеслась поначалу недоверчиво. Ее смущали разговоры, которые вели ее соотечественницы о характере русских мужчин: «мужчины русские так лукавы и так изменчивы», но более всего ее тревожила мысль, что Анна Ивановна ни за что не позволит ему жениться на бедной и незнатной девушке, а у Ивана Александровича не хватит мужества противостоять воле матери, которая одним росчерком пера лишит его наследства, откажет в деньгах. Романтически настроенный юноша был, однако же, настойчив, уговорил Полину отправиться с ним в путешествие, в деревню, где ждал их, оказывается, священник и были уже подготовлены свидетели, чтобы их тайно обвенчать. Но Полина, представляя мать своего горячего поклонника по рассказам и личным впечатлениям, не решилась на такой шаг — природное благоразумие говорило ей, что ничего хорошего из тайного венчания не выйдет, — мать придет в неистовство.

«Иван Александрович надеялся, однако, склонить ее, но это была одна надежда — ничто не ручалось за успех, напротив, можно было ожидать, — и я замечала, — пишет Полина, — что Иван Александрович сам боялся этого».

Летом 1825 года в Пензе была крупная, шумная ярмарка. Торговые фирмы России соперничали друг с другом, старались пышнее и затейливее представить товары свои, посылали для бойкости торговли своих

наилучших приказчиков и продавцов. Принял участие в ярмарке и французский модный магазин Демонси. Так Полина оказалась в Пензе. Волей случая, а может быть, по предварительному уговору в Пензе оказался и Анненков — «за ремонтом лошадей для кавалергардского полка, в котором он служил».

Закупив лошадей, Анненков должен был уехать, но... не в полк; он имел поручение матери: осмотреть свои имения — их было немало, они размещались в Пензенской, Симбирской и Нижегородской губерниях. И, отправив в Москву лошадей, выполнив полковое поручение, Анненков решил во что бы то ни стало совершить путешествие вдвоем. Между молодыми людьми произошло бурное объяснение.

«Однажды вечером он пришел ко мне совершенно расстроенный. Его болезненный вид и чрезвычайная бледность поразили меня. Он пришел со мною проститься... Расстаться с ним у меня не хватило духу, и мы выехали из Пензы 3 июля 1825 года».

Они не были обвенчаны, но это было их свадебное путешествие. Они видели запущенные барские усадьбы, разоряющееся хозяйство, горы серебряной посуды, стоящей баснословные деньги, сваленной в углах пустых комнат — в пыли и паутине, приходящую в негодность дорогую мебель, обветшавшие дома. Хаос. Умирание. Но это их мало волновало — они видели только друг друга, слышали только друг друга, жили только друг для друга. И возвращались в Москву неохотно.

Едва въехали они в Москву, как разнеслась весть: в Таганроге внезапно умер Александр I. Анненков собирался в Петербург.

В канун его отъезда из разговоров друзей Ивана Александровича, молодых людей, ежевечерне у него собирающихся, Полина узнала о тайном обществе и

о принадлежности к нему ее возлюбленного: перед отъездом он ей признался, что состоит в заговоре и что «неожиданная смерть императора может вызвать страшную катастрофу в России».

«Мрачные предчувствия теснили мне грудь. Сердце сжималось и ныло. Я ожидала чего-то необыкновенного, сама не зная, чего именно, как вдруг разнеслось ужасное известие о том, что произошло 14 декабря... В это время забежал ко мне Петр Николаевич Свистунов, который служил в кавалергардском полку... Я знала, что Свистунов товарищ и большой друг Ивана Александровича, и была уверена, что он приходил ко мне недаром, а, вероятно, имея что-нибудь сообщить о своем друге. На другой же день я поспешила послать за ним, но человек мой возвратился с известием, что он уже арестован».

«Тот, кто не испытал в России крепостного ареста, не может вообразить того мрачного, безнадежного чувства, того нравственного упадка духом, скажу более, даже отчаяния, которое не постепенно, а вдруг овладевает человеком, преступившим за порог каземата. Все его отношения с миром прерваны. Он остается один перед самодержавною неограниченною властью, на него негодующею, которая может делать с ним, что хочет, сначала подвергать его всем лишениям, а потом даже забыть о нем, и ниоткуда никакой помощи, ниоткуда даже звука в его пользу. Впереди ожидает его постепенное нравственное и физическое изнурение; он расстается со всякой надеждой на будущее, ему представляется ежеминутно, что он погребен заживо... Это нравственная пытка, более жестокая, более разрушительная для человека, нежели пытка телесная».

Именно такое чувство испытал и автор приведенных выше строк — Николай Васильевич Басаргин, и все друзья его — декабристы и в том числе Анненков. Он был арестован 19 декабря 1825 года и после первого допроса, как и некоторые из его товарищей, отправлен в Выборгскую крепость.

За несколько дней до этого, 12-го числа, на собрании у князя Оболенского он заявил, что не уверен в солдатах кавалергардского полка, что они не подготовлены к восстанию и вряд ли поддержат его. 19-го числа дежурный офицер полка пришел за ним со словами: «Ну, одевайся, только шпаги не бери...» Эскадронный командир Фитингоф отвез Анненкова во дворец. Там он встретил двух своих товарищей — Муравьева и Арцибашева. Им не дали обмолвиться и словом, развели по разным углам.

Зал был наполнен военными, высокопоставленными чинами. Они возмущались, называли восставших злодеями, делали это нарочито громко, словно не замечая, что трое из участников событий присутствуют при этом, а точнее — специально говорили грубее и наглей именно для декабристов, навеки отсекая их от своего высшего общества.

Их допрашивал — по одному — сам император.

В «Записках» Полины сохранился рассказ Ивана Александровича об этом:

«Я первый вошел в комнату, в которой был государь; он тотчас запер дверь в зал, увлек меня в амбразуру окна и начал говорить:

— Были в обществе? как оно составилось? кто участвовал? чего хотели?

Как я ни старался отвечать уклончиво и осторожно, но не мог не выразить, что желали лучшего порядка в управлении, освобождения крестьян и проч. Государь снова начал расспрашивать:

— Были вы 12 декабря у Оболенского? Говорите правду, правительству все известно.

— Был.

— Что там говорили?

— Говорили о злоупотреблениях, о том, что надо пресечь зло.

— Что еще?

— Больше ничего.

— Если вы знали, что есть такое общество, отчего не донесли?

— Как было доносить, тем более что многого я не знал, во многом не принимал участия, все лето был в отсуствии, ездил за ремонтом, наконец, тяжело, нечестно доносить на товарищей.

На эти слова государь страшно вспыхнул.

— Вы не имеете понятия о чести, — крикнул он так грозно, что я невольно вздрогнул. — Знаете ли вы, чего заслуживаете?

— Смерти, государь.

— Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны, нет — я вас в крепости сгною».

Тщательно скрываемый всеми участниками тайного общества замысел цареубийства открылся. В числе других, знающих, что в установлениях общества допускалось убийство Александра I и уничтожение всей императорской семьи, был указан и Анненков. Его привезли из крепости в Петербург, в Главный штаб.

«Когда я входил по лестнице, меня поразила случайность, какие бывают в жизни и пред которыми нельзя не остановиться: я очутился в том самом доме, где провел свое детство; меня ввели даже в ту самую комнату, где я когда-то весело и беззаботно прыгал, а теперь сидел голодный, потому что меня целый день продержали без пищи... Тут я увидел одного из своих родственников, который ужаснулся только тем, что

у меня выросла борода, и не нашел ничего более сказать мне. К счастью, я встретил тут Стремоухова, своего товарища по службе, и поспешил воспользоваться этим случаем, просил Стремоухова повидать мою дорогую Полину и передать ей, что я жив. С тех пор, как мы расстались с ней в Москве, я не имел от нее известий, тоска по ней съедала меня, и я был уверен, что она не менее меня страдала от неизвестности».

Неизвестность... Иногда легче вынести самую жестокую правду, чем, не зная покоя, томиться в ожидании намека, слова, хоть каких-то сведений о любимом человеке, то надеяться на лучшее, то с замиранием души ожидать худшего, ежедневно, ежечасно, ежеминутно умирать за него и воскресать вместе с ним, непрестанно жить в тревоге и отчаянии.

Так жила Полина.

Брат Стремоухова, проживающий в Москве, рассказывал ей некоторые подробности восстания, вскоре появился и тот, с кем встретился Иван Александрович в Главном штабе. Их сведения были неутешительны: Анненков — в крепости, нуждается во всем — от белья до денег, с помощью которых хоть чуть-чуть можно облегчить существование. Стремоухов посетил и Анну Ивановну, рассказал ей, что сыну ее нужна помощь, но старуха, по традиции своей, заставила его более часа томиться в прихожей, затем вышла в окружении приживалок и сказала, что «вещи сына находятся в кавалергардских казармах и что там есть все, что ему нужно». Судьба покарала ее, она умерла в бедности, растратив несметные богатства свои, умерла, обворованная своими приказчиками и управляющими, но сейчас, когда дом ее ломился от всякой всячины, она отказала сыну в малейшей помощи.

11 апреля 1826 года у Полины родилась дочь. Ее называли Александрой. Волнения четырех месяцев не про-

шли бесследно для Полины. Она тяжело захворала и три месяца пролежала в постели, почти в бессознательном состоянии, несколько недель она была при смерти.

Рождение ребенка вызвало переполох в доме Анны Ивановны. Вся ее челядь взволновалась — одни злорадовались по этому поводу, хоть и кормились на деньги своей взбалмошной родственницы, другие, те, что перекачивали правдами-неправдами состояние Анненковой в свой карман, испугались всерьез: а что, если французенка тайно обвенчана с молодым баринном и теперь предъявит свои права?! Сама Анна Ивановна настолько любопытствовала по этому поводу, так стремилась узнать, венчаны молодые или нет, что сулила служивому человеку Ивана Александровича две тысячи рублей за правду. Подумать только: отказать сыну в элементарной помощи и платить такие деньги лишь за то, чтобы узнать, узаконен его брак с Полиной или нет!

От французенки отвернулись друзья. Лишенная работы, больная, она вынуждена была продавать фамильные драгоценности — их было, надо признаться, не так уж и много, вскоре пошли в ход все более или менее приличные вещи. Старуха, скорее снедаемая любопытством, чем жалостью, прислала вдруг небольшую помощь — деньги эти мгновенно растаяли — они ушли на содержание себя и ребенка, на оплату лекарств, врача, на получение сведений об Иване Александровиче, для чего Полина снарядила в Петербург на свой счет гонца.

Едва оправившись от болезни, решила она и сама отправиться в столицу. Как иностранке, ей для этого понадобился паспорт.

«В то время меня начали осаждать приблуженные Анны Ивановны то своим вниманием, то разными преследованиями. Пока я хворала, меня все забыли и оста-

вили в покое, но когда узнали, что я хлопочу о паспорте, чтобы ехать в Петербург, то стали снова убеждать меня не ездить, и даже интриговали, чтобы я не могла получить паспорта».

И все же она уехала.

Анненков был человеком, склонным к меланхолии, «по природе своей, — писал декабрист Розен, — он был тих, молчалив, мало общителен и крайне сосредоточенного характера». Разлука с Полиной — единственным человеком на белом свете, к которому Иван Александрович был привязан всей душой своей, подействовала на него убийственно. В одной из первых записок, полученных Полиной с помощью все того же преданного друга Стремоухова, были такие строки:

«Где же ты, что ты сделала? Боже мой, нет ни одной иглы, чтобы уничтожить мое существование!»

А существование его было отвратительным. Дело даже не в том, что деньги, отпущенные на содержание узников, растекались по рукам крепостного начальства, от коменданта Сукина до низжайшего из чинов, дело еще и в том, что петербургские родственники воровали из тех небольших средств, которые посылала все же, после близкого знакомства с Полиной и по ее настоянию, мать декабриста. Один из них, Якобий, имел доступ в крепость. Но из тысячи пятисот рублей, отправленных из Москвы, он присвоил две трети, решив, что Анненкову хватит и этого. Кроме того, он оставил у себя вещи узника, даже любимые его золотые очки, которые, по настоянию Полины, вернул... через тридцать лет!

Появление Полины в Петербурге, ее настойчивость в желании увидеться с возлюбленным, ее находчивость и отвага свершили чудо: Анненков ожил, в сердце его явилась яснокрылая надежда на соединение с Полиной,

ибо она в первую же встречу обещала ему сделать все, чтобы разделить его судьбу.

Какого труда стоило Полине каждое свидание! То она переодевалась горничной, то подкупала стражу, то «прогуливалась» вдоль крепостной стены в часы прогулок заключенных, чтобы хоть издали бросить взгляд на Ивана Александровича.

«В первый раз, — пишет она, — когда мне, наконец, привелось его встретить, он проходил мимо меня в сопровождении плац-адъютанта. Вид его до такой степени поразил меня, что я не в силах была двинуться с места: после блестящего кавалергардского мундира на нем был какой-то странный костюм из серой нанки, даже картуз был из той же материи. Он шел тихо и задумчиво, опустив голову на грудь, и прошел мимо, не узнав меня, так как был без очков, без которых ничего не видел».

Не имея в Петербурге близких знакомых, Полина, естественно, тянется к соотечественникам. И вот тут-то происходит знаменательное знакомство.

Жил в те поры в Петербурге известный фехтовальщик Огюстьен Гризье. Чем только не промышляли иностранцы, приютившиеся в российском стольном граде! Огюстьен Гризье учил красиво.

Курсы этого учителя фехтования прошел Пушкин, он был приметным бойцом, с удивительной легкостью постиг новые приемы и тактику сражения на шпагах, делал это артистично и заслужил самые высокие похвалы своего учителя. Брал у Гризье уроки и Анненков. Француз сердечно отнесся к своей соотечественнице, к судьбе ее дорогого друга, снабдил ее некоторой суммой денег, и, видимо, не без его влияния у Полины возникла авантюрная идея: выкрасть Ивана Александр-

ровича из крепости, переправиться с ним за границу.

Через несколько лет, вернувшись в Париж, Огюстьен Гризье напишет мемуары о десятилетнем пребывании в России, и посетители его парижского великосветского салона, куда известные общественные деятели и писатели Франции приходили не столько пофехтовать, сколько провести время в дружеской беседе, отметят незаурядность этих воспоминаний о чужой стране. Александр Дюма, умевший легко черпать из жизни и литературы все увлекательное и обращать в приключенческо-исторические романы, положит воспоминания Огюстьена Гризье в основу книги «Записки учителя фехтования». Рукопись Гризье, посланная автором в дар Николаю I с благоговейным посвящением, вызвала благодарность российского монарха, император направил учителю фехтования подарок — бриллиантовый перстень, роман же Александра Дюма был в России запрещен до самой революции и впервые увидел свет в 1925 году, в день 100-летия восстания на Сенатской площади.

Между тем Полина, одержимая новой идеей, разыскивает для Анненкова поддельный паспорт, и какой-то петербургский немец обещает ей дать такой паспорт за шесть тысяч рублей. Дабы добыть эти деньги, француженка уезжает в Москву, является к Анне Ивановне, но та ей отвечает:

— Мой сын — беглец!.. Я никогда не соглашусь на это, он честно покорится своей судьбе.

— Это достойно римлянина, — отвечала ей Полина. — Но их времена уже прошли.

Однако она и сама уже понимала, что Анненков откажется покинуть товарищей своих, что он твердо

разделит их судьбу, сколь бы жестокой она ни была.

«Это происходило в декабре месяце, 9 числа, 1826 года.

В это время мосты были все разведены, и по Неве шел страшный лед; иначе как в ялике невозможно было переехать на другую сторону. Теперь, когда я припоминаю все, что случилось в ночь с 9 на 10 декабря, мне кажется, что все это происходило во сне. Когда я подошла к реке, то очень обрадовалась, увидав человека, привязывающего ялик, и еще более была рада узнать в нем того самого яличника, который обыкновенно перевозил меня через Неву. В такую пору, бесспорно, не только было опасно пускаться в путешествие, но и безрассудно; между тем меня ничто не могло остановить; я чувствовала в себе сверхъестественные силы и необыкновенную готовность преодолеть всевозможные препятствия. Лодочник меня также узнал и спросил, отчего не видать так долго? Я старалась ему дать понять, что мне непременно нужно переехать на другую сторону. Он отвечал, что это положительно невозможно; но я не унывала, продолжала его упрашивать и, наконец, сунула ему в руки 25 рублей; тогда он призадумался, а потом стал показывать мне, чтобы я спустилась по веревке, так как лестница была вся покрыта льдом. Когда он подал мне веревку, я с большим трудом могла привязать ее к кольцу, до такой степени все было обледеневшее; но, одолев это препятствие, мигом опустилась в ялик; потом только я заметила, что руки у меня были все в крови; я оборвала о ледяную веревку не только перчатки, но и всю кожу на ладонях.

Право, не понимаю, как могли мы переехать тогда, пробираясь с такой опасностью сквозь льдины!

Бедный лодочник крестился все время, повторяя: «Господи, помилуй!», наконец с большим трудом мы достигли другого берега; но когда я подошла к крепостным воротам, то встретила опять препятствие, которое, впрочем, ожидала; часовой не хотел пустить, потому что было уже 11 часов ночи».

Право же, иногда приключения Полины Гебль похожи на эпизоды авантюрного романа, но, увы, во всем рассказанном выше нет ни грана выдумки.

Невероятные усилия пришлось приложить ей, чтобы ночью пробиться в крепость, точно сердце ее предчувствовало беду и разлуку... Короткое свидание... Клятвы верности и любви... Она вернулась домой — ее комната была неподалеку от крепости — вся дрожа: от холода, от страха, пережитого на реке, хотя и подсознательного, от волнения, вызванного свиданием.

В ту же ночь Анненкова с товарищами увезли в Сибирь.

Утром один из солдат крепости передал ей записку. В ней была одна только фраза: «Se rejoindre ou mourir» — «Встретиться или умереть!»

16 мая 1826 года.

«Ваше Величество, позвольте матери припасть к стопам Вашего Величества и просить, как милости, разрешения разделить ссылку ее гражданского супруга. Религия, Ваша воля, государь, и закон научат нас, как исправить нашу ошибку. Я всецело жертвую собой человеку, без которого я не могу более жить, это самое пламенное мое желание. Я была бы его законной супругою в глазах церкви и перед законом, если бы я захотела преступить правила деликатности. Я не знала о его виновности; мы соединились неразрывными узами. Для меня было достаточно его любви...

...Соблаговолите, Ваше Величество, открыть великое сердце состраданию, дозвоьте мне, в виде особой милости, разделить его изгнание. Я откажусь от своего отечества и готова всецело подчиниться вашим законам.

У подножия Вашего престола молю на коленях об этой милости... надеюсь на нее».

Полина мчится в Вязьму, обгоняя карету самого царя. Там — маневры. Царь любит парады, построения и крики «виват», как все российские цари. Даже в дни допросов и суда над декабристами он пишет брату в Варшаву:

«...Здесь все благополучно. Мои гости присутствуют на смотре войск, что дает удобный случай и мне их посмотреть, и я могу сказать по совести и по правде, что они вполне хороши...»

На это-то настроение и рассчитывала Полина.

Ц а р ь: Что вам угодно?

П о л и н а: Государь! Я не говорю по-русски. Я хочу получить милостивое разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым.

Ц а р ь: Это не ваша родина, сударыня, там вы будете очень несчастны.

П о л и н а: Я знаю, государь, и готова на все.

Ц а р ь: Ведь вы не жена государственного преступника...

П о л и н а: Но я — мать его ребенка.

Из письма Полины к московскому обер-полицмейстеру:

«Получив от вашего превосходительства... правила, изданные относительно жен государственных преступников, в каторжную работу осужденных, я имею честь ответить, что, соглашаясь со всеми условиями, от-

правляюсь в Нерчинск для соединения законным браком с государственным преступником Анненковым и для всегдашнего там жительства. Что же касается денежного пособия, нужного для свершения пути, я не осмеливаюсь назначить суммы и буду совершенно довольна тем, что Его Величеству Государю Императору благоугодно будет приказать меня наделить».

Николай I — министру финансов:

«Отпустить из государственного казначейства на известные его величеству расходы три тысячи рублей».

«Я, нижеподписавшаяся, отправила своих крепостных дворовых людей Андрея Матвеева и Степана Новикова для препровождения иностранки г-жи Прасковьи Егоровны Поль (Гебль) до губернского города Иркутска, которым я прошу г.г. команду, имеющих и на учрежденных заставах по тракту лежащих, чинить свободный и беспрепятственный пропуск вперед и обратно. (Далее следуют приметы крепостных.) В уверение чего сей пропуск за подписанием моим и с приложением герба фамильной моей печати и дан в столичном городе Москве.

Декабря 22 дня 1827 года.

Статская советница Анна Анненкова».

«(СЕКРЕТНО)

4 февраля 1828 г.

№ 24

Иркутск

Графу Дибичу

Ваше сиятельство,

Милостивый государь!

На сих днях прибыла в Иркутск французская подданная, швея Жаннета Поль (Гебль) с находящимися

при ней двумя крепостными людьми статской советницы Анненковой.

Она предъявила прилагаемый при сем в подлиннике билет московского обер-полицмейстера, данный ей 20-го прошлого декабря на проезд в Нерчинск, а также подорожную московского гражданского губернатора на взимание до Нерчинска почтовых лошадей, данный госпожою Анненковою крепостным людям Андрею Матвееву и Степану Новикову, отправленным для препровождения означенной Поль до Иркутска и долженствующим возвратиться отсель в Москву.

Когда о прибытии ее сюда, получили рапорт управляющего полицией, то, желая знать действительную причину, по коей сия иностранка едет в Нерчинск, приказал спросить ее о сем и узнал, что она следует в Читу для вступления в законный брак с государственным преступником Анненковым по позволению, данному ей на то правительством, в чем, однако ж, никакого удостоверения не представила...

Не имея никакого сведения, чтобы сей иностранке следовать в читинский острог, где содержатся государственные преступники, я не решился дозволить ей выезд из Иркутска, но относусь предварительно к коменданту Нерчинских рудников генерал-майору Лепарскому с требованием уведомления, не получил ли он какого-либо об ней предписания.

Ежели генерал-майор Лепарский удостоверит меня, что проезд ея в Читу разрешен, в таком разе я немедленно дозволю ей отправиться из Иркутска...

А. Лавинский»

«Выехала я из Иркутска 29 февраля 1828 года, довольно поздно вечером, чтоб на рассвете переехать через Байкал.

Губернатор заранее предупреждал, что перед отъездом вещи мои будут осматривать, и когда узнал, что со мною есть ружье, то посоветовал его запрятать подальше, но, главное, со мною было довольно много денег, о которых я, понятно, молчала; тогда мне пришлось в голову зашить деньги в черную тафту и спрятать в волосы, чему весьма способствовали тогдашние прически; часы и цепочку я положила за образа, так что, когда явились три чиновника, все в крестах, осматривать мои вещи, то они ничего не нашли.

К Байкалу подъезжают по берегу реки Ангары. Это замечательная река по своему необыкновенно быстрому течению, вследствие чего она зимой не замерзает, по крайней мере до января месяца. Около Иркутска Ангара очень широка, но в том месте, где она вытекает из Байкала, она течет очень узко, между двух крутых берегов. Все это было для меня так ново, так необыкновенно, что я забывала совершенно все неудобства зимнего путешествия и с нетерпением ожидала увидеть Байкал, это святое море, которое, наконец, открылось перед нами, представляя необыкновенно величественную картину, несмотря на то, что было покрыто льдом и снегами. Признаюсь, что я с не совсем покойным чувством ожидала переезда через грозное озеро, так как мне объяснили, что на льду образуются часто трещины очень широкие, и, хотя лошади приучены их перескакивать и ямщики запасаются досками, из которых устраивают что-то вроде мостика через трещину, но все-таки переезды эти сопряжены с опасностью».

Жаннета Поль, живущая в России под именем Полины Гебль, чтобы низкой должностью не порочить наследной фамилии, дочь монархиста, сгинувшего без вести, швея и сотрудница модного магазина, милая,

красивая, много испытывавшая на коротком веку своем женщина, въезжала в Читу. После Шампаньи и Парижа, после Москвы и Петербурга, даже после Иркутска, который покинула она несколько дней назад, маленькая деревушка над быстрой студеной рекой, тайга, суровые частоколы острога, вылинялый флаг с двуглавым орлом над комендатурой, бревенчатая, хмурая, как и все вокруг, церковь...

Еще несколько минут — лошади сбегут с откоса вниз, к деревне, сани останятся у края улицы. И, словно пройдя сквозь невидимую пронзительную грань, исчезнет милая госпожа Гебль, и появится жена ссыльнокаторжного государственного преступника Прасковья Егоровна Анненкова. Еще только шаг, только шаг...

Комендант Лепарский проявил немедленную заботливость, и уже назавтра Полина жила в своей квартире. Первую ночь она провела у Александрины Муравьевой, с которой познакомилась, едва въехав в Читу. Впрочем, забота коменданта была своеобразной: не успела гостя перевести дух, как он изложил ей содержание очередных бумаг и подписок, которые она должна была дать правительству: ни с кем не общаться, никого у себя не принимать, ни к кому не ходить, не передавать в острог спиртных напитков и прочее, и прочее.

«Обязуюся иметь свидание с мужем моим не иначе как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера; не говорить с ним излишнего, и паче чего-либо не принадлежащего, вообще же иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке».

Этот пункт заставил Полину улыбнуться:

— Помилуйте, но я ведь француженка. Даже с его величеством говорила я на родном языке.

— Однако же, сударыня, вы находитесь в России, в Сибири, и к тому же имеете явное намерение стать женой ссыльнокаторжного!..

— Да. И я хотела бы его видеть, и как можно скорее! Не напрасно же я промчалась шесть тысяч верст, через Байкал, через лес...

— Тогда, сударыня, поторопитесь подписать бумаги.

Вскоре один из крепостных сообщил ей, что вот-вот проведут заключенных в баню, и она сможет увидеть Ивана Александровича.

«Четверть часа спустя человек вызвал меня, и я увидела Ивана Александровича между солдатами, в старом тулупе, с разорванной подкладкой, с узелком белья, который он нес подмышкою.

Подходя к крыльцу, на котором я стояла, он сказал мне:

— *Pauline, descends plus vite et donne moi ta main*». (Полина, сойди скорее вниз и дай мне руку.)

Я сошла поспешно, но один из солдат не дал нам поздороваться — он схватил Ивана Александровича за грудь и отбросил назад. У меня потемнело в глазах от негодования, я лишилась чувств и, конечно, упала бы, если бы человек не поддержал меня...

Только на третий день моего приезда привели ко мне Ивана Александровича. Он был чище одет, чем накануне, потому что я успела уже передать в острог несколько платья и белья, но был закован и с трудом носил свои кандалы, поддерживая их. Они были ему коротки и затрудняли каждое движение ногами. Сопровождали его офицер и часовой, последний остался в передней комнате, а офицер ушел и возвратился через два часа.

Невозможно описать нашего первого свидания, той

безумной радости, которой мы предались, после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в каком мы оба находились в эти минуты».

«Анненкова, — писала Влконская, — приехала к нам, нося еще имя м-ль Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30; она кипела жизнью и веселием и умела удивительно выискивать смешные стороны в других. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление его величества относительно ее свадьбы... Она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами — Свистуновым и Александром Муравьевым. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни».

Свадьба была назначена на 4 апреля 1828 года. Лепарский вызвался быть посаженным отцом, а Наталья Дмитриевна Фонвизина — посаженной матерью. Для жениха и невесты участие Фонвизиной в свадебном ритуале было чрезвычайно важно: Полина, как католичка, вовсе не знала православных обрядов, Лепарский был тоже католиком. Произошел даже казус: церковь в Чите двухэтажная, коменданту почему-то показалось, что надо идти на второй этаж, он подхватил невесту под руку, и по жуткой скрипучей лестнице, которая, казалось, с трудом удерживала тучного генерала, они еле добрались наверх лишь для того, чтобы под общее веселье спуститься тотчас же вниз.

Свадьба была событием для всей Читы и праздником для декабристов — с появлением каждой из подруг крепла надежда у всех, что придет час и они тоже будут счастливы.

Иван Александрович помолодел, меланхолия, навалившаяся на него в остроге, растаяла, не оставив следов.

Дамы старались принарядиться, кроили и шили, как могли: опыт Полины, ее готовность всем услужить, помочь оказались сейчас настолько ко времени, что у всех женщин, разделивших участь сибирских узников, навсегда осталась дружеская привязанность к неунывающей француженке. Церковь была темна, Елизавета Петровна Нарышкина ради торжественного случая отдала все восковые свечи, запасливо привезенные ею для длинных зимних вечеров. Шафера пожелали обязательно быть в белых галстуках — и Полина сшила такие галстуки из своих батистовых платков.

К приезду невесты у церкви собралась вся деревня — от мала до велика, даже больные и немощные приковыляли. Экипажей в Чите не было, и Лепарский, приехав в церковь, тотчас же отправил коляску свою за невестой. Она приехала вместе с Фонвизиной, и тут-то и произошел рассказанный выше казус со вторым этажом — это развеселило присутствующих, особенно дам. У всех поднялось настроение.

И вдруг... Казалось, замерли, упали на землю, осыпались, как хваченный морозом лист, все слова, все звуки, кроме одного: все нарастающего звона кандалов.

Под конвоем привели жениха и шаферов. Молча расступились люди, отстали солдаты, на паперти церкви у самого входа в нее сняли с декабристов оковы.

«Церемония продолжалась недолго, — пишет Анненкова, — священник торопился, певчих не было.

По окончании церемонии всем троим, то есть жениху и шаферам, надели снова оковы и отвели в острог.

Дамы все проводили меня домой. Квартира у меня была очень маленькая, мебель вся состояла из нескольких стульев и сундука, на которых мы кое-как разместились.

Спустя несколько времени плац-адъютант Розенберг привел Ивана Александровича, но не более как на полчаса».

Деятельный характер Полины, ее удивительное умение приспособиться к любой обстановке, привычка к труду — как к месту все это оказалось здесь, в Сибири, где все было проблемой — от восковой свечи до продуктов питания. Она вскопала благодарную забайкальскую землю и получила невиданный урожай овощей, она придумывала необычные кушанья, которые при отсутствии плиты умудрялась готовить на трех жаровнях, поставленных в сених, — каждый день, как и другие жены, отправляла она обед в острог.

Через много лет сын декабриста Якушкина, погостив у Анненковых на поселении, напишет в письме к жене:

«Без нее с своим характером (он бы) совершенно погиб. Его вечно все тревожит, и он никогда ни на что не может решиться. Когда они были на поселении, не раз случалось ей отправляться ночью с фонарем осматривать, не забрались ли на двор воры, когда муж тревожился громким лаем собак. Один раз ночью воры действительно залезли к ним в дом. Анненков совершенно растерялся, но она нисколько. «Сергей! Иван! Григорий! — закричала она. — Ступайте сюда скорей, да возьмите с собой ружья — к нам кто-то забрался в дом!» — Воры услышали такое громкое и решительное приказание, бросились бежать, а между тем ни Сергея, ни Григория, ни Ивана никогда не было у Анненковых, не говоря уже о ружьях, — у них жила в это время одна только кухарка».

16 марта 1829 года у Анненковых родилась дочь,

их второй ребенок. В честь бабушки ее называли Анною.

В этом году в нескольких семействах начались счастливые хлопоты, появились дети.

«Надо сознаться, — говорит Полина, — что много было поэзии в нашей жизни. Если много было лишений, труда и всякого горя, зато много было и отрадного. Все было общее — печали и радости, все разделялось, во всем друг другу сочувствовали. Всех связывала тесная дружба, а дружба помогала переносить неприятности и заставляла забывать многое».

Чтобы улучшить свой быт, дамы начали строить собственные дома — это были типичные крестьянские избы, но с некоторыми все же усовершенствованиями: в них было перенесено как можно больше городского. Комендант Лепарский, который знал уже, что вот-вот всей колонии предстоит большой поход, не удерживал дам от строительства, чем, конечно, содействовал развитию Читы, но вверг своих подопечных в ненужные и немалые траты.

Наступил 1830 год, все было готово в Петровске, начался великий переход декабристов из тюрьмы в тюрьму, переход, так ярко описанный Александром Ивановичем Одоевским:

Что за кочевья чернеются
Средь пылающих огней —
Идут под затворы молодцы
За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава.
Весело ляжем живые
За святую Русь.
Дикие кони стреножены,
Дремлет дикий их пастух;
В юртах засыпая, узники
Видят во сне Русь,

За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава.
Весело ляжем живые
За святую Русь.
Шепчут деревья над юртами.
Стража окликает страж, —
Вещий голос сонным слышится
С родины святой.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава
Весело ляжем живые
За святую Русь.
.....

*«На переход наш из Читы
в Петровский завод». 1830 г.*

Жизнь Анненковых в Петровске ничем не отличалась от судьбы их сотоварищей. Разве только что Полина родила мужу еще двух детей. Теперь у них была большая семья — и все мал мала меньше. Веселый, добрый нрав, находчивость, умение без жалоб и тоски выходить из сложных материальных невзгод, врожденная работоспособность помогли Полине и содержать семью, и быть, можно сказать, матерью мужу своему, и поддерживать ровные отношения со всей декабристской колонией в Петровске. Ее муж, человек умный, добрый и обаятельный, был к ней сердечно привязан, и любовь помогла Анненковым перенести тяжелый удар: они похоронили старшую дочь.

20 августа 1836 года, простившись с дорогой могилой, Анненковы покидали Петровск вместе с восемнадцатью товарищами, срок каторжных работ для которых истек. Рвались узы братства, только сейчас на пороге разлуки люди понимали, насколько они дороги друг другу. Жена декабриста Юшневского писала о братьях Бестужевых: «Они в большом горе, что надо проводить Анненкова». Те, что оставались, загрустили, те, что

уезжали, старались держаться друг друга — так возникли колонии декабристов близ Иркутска: в Оёке, в Урике, в Малой Разводной, куда стремились прибиться те, кто покидал Петровск позднее. Анненковым было назначено местом пребывания село Бельск — тоже близ губернского центра. Однако видимость освобождения, породившая некоторые иллюзии, не принесла облегчения. Еще в Петровске простудился младший ребенок, в дороге болезнь усилилась, в Иркутске у малыша отнялась нога, и вскоре после прибытия на поселение Анненков вынужден письменно обращаться к генерал-губернатору Броневскому с просьбой: «Сделайте милость, дозвольте г-ну Вольфу приехать в Бельск, чтобы подать помощь меньшому моему ребенку... у него свело ногу, и он может навечно остаться калекою...»

Бесправные, брошенные на произвол судьбы, они были лишены не только общения, которое еще совсем недавно приносило им радость и облегчение, но и возможность приобрести самое необходимое для жизни, ту малость, без которой дом — не дом. Деликатный и терпеливый, Анненков снова обращается к Броневскому. На этот раз вежливые формы вроде «сделайте милость» или «не оставьте без внимания» сменились выражениями иного свойства:

«Ваше Превосходительство!

Господин испр. должность Земского исправника не сообщил еще по сие время никаких письменных относительно меня распоряжений в Бельск, а в приезд свой приказал предписание объявить нам, что если мы отлучимся без особенного дозволения начальства, то будем судимы как за побег. Словесно же велел старшине осматривать ежедневно мой дом и не выпускать нас из селения.

Подобное распоряжение внушило мне необходи-

мость объяснить Вашему П-ству следующее: я высоко ценю милость Государя Императора, которому угодно было освободить меня на поселение, и, следовательно, по одному тому уже для меня чужда будет мысль о побеге. Прибавьте к этому, что я имею жену и детей, и тогда Вы, верно, убедитесь, что несообразность, к которой предполагают меня способным и за которую меня, не помышлявшего еще о преступлении, угрожают уже предать суду, может быть свойственна одному только безумцу, лишившемуся вовсе рассудка. Не отлучаться же за черту селения, как требует этого г-н исправник, и спрашивать на каждый раз особое дозволение начальства, невозможно по медленности сношений.

Не имев еще своего хозяйства, я должен изыскивать средства, пополнять в окрестностях то, чего нельзя достать на месте, и позаботиться также о дешевой закупке припасов. В Бельске не существует базара, и потому выезд в соседние деревни необходим для закупки местных припасов, сена, дров и тому подобного».

Броневский долго вертел в руках письмо. Логика, конечно, есть — женатому человеку, обремененному детьми, бежать не следует. Ну да чем все же черт не шутит. А вдруг! Придется ответ держать перед государем. По всей строгости. А не разрешить — так, выходит, ты и есть этот самый «безумец, лишившийся вовсе рассудка».

Утром следующего дня генерал-губернатор поставил резолюцию на письме:

«Разрешите государственному преступнику Анненкову отлучки по хозяйственным надобностям в пределах волости». Однако этой дарованной столь «великодушно» милостью Анненков всерьез не успел воспользоваться, в том же 1837 году, в котором писано приведенное выше письмо, ему было объявлено, что по хо-

дательству родных ему назначено переехать в город Туринск «с употреблением на службу в земском суде, на правах лица из податного сословия».

Так началась государственная служба Ивана Александровича Анненкова — исключительная государева милость: Николай I ревниво следил за тем, чтобы декабристы, не дай бог, снова не выбились в люди. Должно быть, и здесь сделали свое дело благодарственные письма Полины, которые посылала она государю по всякому подобающему поводу с независимостью и непосредственностью француженки.

Через четыре года они были уже в Тобольске, где Анненков состоял чиновником особых поручений при губернаторе, а потом начальником отделения в приказе о ссыльных, служил в приказе общественного призрения, а в 1845 году назначен заседателем. Его живой ум, обширные познания, умение быть полезным сделали его приметным человеком, которому доверяли люди.

Много детей родила на свет Прасковья Егоровна Анненкова, в живых осталось шестеро. Не один раз лом и лопата врезались в землю, чтобы навеки зарыть неокрепшего, так рано угасшего младенца, не один раз оплакали родители сыновей и дочерей своих, которым отдали столько душевных сил, столько забот, на которых возлагали столько надежд.

В Нижнем Новгороде, где поселились Анненковы после возвращения на родину, губернатором был Александр Николаевич Муравьев. Отставной полковник, декабрист, он был пассивным членом Северного общества, ничего не знал об умысле цареубийства, не принимал участия в событиях на Сенатской площади. Осужденный по шестому разряду, на шесть лет каторги, он вскоре был назначен в Сибирь — городничим в

захолустный Верхнеудинск, затем переведен на ту же должность в Иркутск. Его дом был одним из тех пунктов, через который протекала бесцензурная тропа переписки узников Петровского завода с родителями, родственниками и друзьями.

Иван Александрович становится чиновником особых поручений при губернаторе, избирается предводителем нижегородского дворянства. Как и другие декабристы, дожившие до этих дней, он встречен с большим сочувствием и пониманием соотечественниками своими, почитаем молодежью, к нему тянутся деятели литературы и культуры.

В дневнике Тараса Шевченко, в записи 16 октября 1857 года, читаем:

«У Якоби (нижегородский знакомый Шевченко. — М. С.) встретился я и благоговейно познакомился с возвращающимся из Сибири декабристом, с Иваном Александровичем Анненковым. Седой, величественный, кроткий изгнанник в речах своих не обнаруживает и тени ожесточения против своих жестоких судей, даже добродушно подтрунивает над фаворитами коронованного фельдфебеля, Чернышевым и Левашевым, председателями тогдашнего верховного суда. Благоговейю перед тобою, один из первозданных наших апостолов!

Говорили о возвратившемся из изгнания Николае Тургеневе, о его книге («Записки русского»), говорили о многом и о многих и в первом часу ночи разошлись, сказавши: «До свидания».

Среди прочих одна встреча была знаменательной. Александр Дюма путешествовал по России. С каждой станции посылал он материалы в свой журнал «Монте-

Кристо», воспевал российское гостеприимство, описывал кровавые эпизоды истории снежной страны этой, но великий мастер интриги сном и духом не ведал, что по указанию Александра II сам он оказался в сетях странной интриги: круг людей, которые его встречали, устраивали в его честь званые обеды и пышные балы, был зарегистрирован и определен Третьим отделением, ведомством Бенкендорфа. Указанием сим господам было одно: пусть французский гость побольше пьет и веселится, да поменьше видит, и разговаривать с ним должны только проверенные лица.

Дюма упивался успехом, он покорял сердца петербургских барышень и девиц на выданье в старокупеческих волжских городах, он поедал удивительные экзотические блюда, удивлялся, как блестяще владеют французским его новые знакомцы. Это не помешало Дюма все же опубликовать немало язвительных фактов в своем журнале, но главного — жизни России при Александре II — он всерьез не увидел.

И вот Дюма — в Нижнем Новгороде.

Губернатор Александр Николаевич Муравьев обещает ему сюрприз...

«Не успел я занять место, — пишет Дюма, — думая о сюрпризе, который, судя по приему, оказанному мне Муравьевым, не мог быть неприятным, как дверь отворилась и лакей доложил: «Граф и графиня Анненковы».

Тут Дюма остался верен себе — Иван Александрович и Прасковья Егоровна графского титула не имели.

«Эти два имени заставили меня вздрогнуть, вызвав во мне какое-то смутное воспоминание. Я встал. Генерал взял меня под руку и повел к новоприбывшим. «Александр Дюма», — обратился он к ним. Затем, обращаясь ко мне, сказал: «Граф и графиня Анненковы — герой и героиня вашего романа «Учитель фех-

тования». У меня вырвался крик удивления, и я очутился в объятиях супругов...

...Графиня Анненкова показала мне браслет, который Бестужев надел ей на руку с тем, чтобы она с ним не расставалась до самой смерти. Браслет и крест, на нем висевший, были окованы железным кольцом из цепей, которые носил ее муж».

Анненков становится в эти годы деятельным и нужным человеком: почти двадцать лет прожил он с семьей в Нижнем Новгороде и несколько трехлетий подряд был предводителем дворянства, занимался земскими реформами, содействовал открытию новых школ, проведению в жизнь реформы, освобождавшей крестьян от крепостной зависимости. И все эти годы была рядом с ним нежно любящая, умеющая все понять и обо всем позаботиться жена.

В 1860 году у Анненковых гостил известный историк Михаил Семевский. Он слушал живые и выразительные рассказы Прасковьи Егоровны о пережитом, и запомнил он Анненковых такими:

«Высокий красивый старик, подле него — несколько полная, необыкновенно подвижная, с весьма симпатичными чертами лица и постоянно французскою речью на устах, его супруга».

Семевский предложил записать ее рассказы, и она охотно согласилась, начала описывать жизнь свою с детства, такую, как вы, дорогой читатель, узнали ее из нашего повествования. Говорила Прасковья Егоровна по-французски, дочь ее, Ольга, запись вела по-русски.

В один из сентябрьских вечеров 1876 года Прасковья Егоровна вспоминала переезд из Читы в Петровский завод. Она рассказала эпизод с казаком, посланным комендантом Лепарским вперед с целью воспре-

пятствовать встречам декабристов с женами в пути следования, о том, как рванулись вперед его дикие лошади, как привезли его вскоре без чувств и залитого кровью, как боялась она садиться потом в экипаж с такими бешеными лошадьми... И вдруг, усталая, попросила перенести беседу на завтра. А утром ее нашли в постели мертвой.

Ее не стало 14 сентября 1876 года.

Всю жизнь была она опорой семьи, никогда никому не пожаловалась на судьбу и умерла тихо, без болезни, вдруг, точно и самой смертью своей боялась побеспокоить близких.

И словно исчезла рука, заслонявшая Ивана Александровича от страшной необратимой тьмы. Мрак вошел в его сердце, в его разум, он никак не мог представить себе, что навсегда потерял жену и друга. Недуг захватил его, настиг. И это был конец.

Так завершился жизненный круг еще одной четы, отдавшей тридцать лет Сибири, наиболее счастливая судьба среди всех остальных.

Если, конечно, можно считать это счастьем...



Несчастью верная сестра

Страдания их были усугублены от близкого расстояния острога мужей: они могли только глядеть друг на друга сквозь тесные щели частокола или когда случалось проходить околицею место наших работ, и при том не слышать родного слова, не пожать родной руки... Они вели переписку со всеми нашими родными и были посредниками между живыми и умершими политическою смертью. Сами они вели жизнь, исполненную самопожертвования.

Декабрист А. Е. Розен

Пять судеб, пять непохожих и в то же время таких близких биографий. А ведь жен, разделивших судьбу своих мужей-декабристов, было больше...

Александра Васильевна Ентальцева приехала в Читу вскоре после Муравьевой. Несчастливая в первом браке, она всю силу доброго сердца своего посвятила человеку тяжелой судьбы Андрею Васильевичу Ентальцеву.

«В молодости, — пишет воспитанница декабриста М. И. Муравьева-Апостола Августа Сазонович, — говорят, она славилась красотой, о чем свидетельствовал миниатюрный портрет на кости, доставшийся после ее кончины единственной дочери от несчастного брака с игроком, который рассчитывал обирать молодежь с помощью юной, хорошенькой жены, — и ошибся. Александра Васильевна не вынесла нравственной муки и сбежала от мужа, после чего долго бедствовала, пока не познакомилась со своим вторым мужем, подполковником, командиром конно-артиллерийской роты... Ентальцев был осужден по VII разряду и первоначально сослан в Читу, в каторжную работу на год, куда Александра Васильевна и поспешила к нему приехать; затем их поселили в Березове, а спустя несколько лет перевели в Ялуторовск.

...Андрей Васильевич за несколько лет до своей кончины сошел с ума. Его болезнь сначала долго таилась, проявляясь некоторыми странностями мирного свойства, ничего не доказывающими; но когда она резко определилась возбужденным состоянием больного, опасным для него самого и для окружающих, тогда Александра Васильевна, с высочайшего разрешения, возила мужа лечиться в Тобольск. Но медицина оказалась бессильна против недуга, поступательно разрушающего организм.

Александра Васильевна возвратилась с неизлечимо больным мужем в Ялуторовск.

Впоследствии Андрей Васильевич совершенно ослаб, впал в детство и несколько лет пролежал в посте-



ли. Тогда Александра Васильевна продала свой дом купцу В. И. Сесенину, наняв себе у него небольшое уютное помещение во флигеле.

Она устроила мужа в лучшей комнате, на солнечной стороне, в которой наблюдались безукоризненная свежесть воздуха и теплота, и держала при нем неотлучно находившуюся старуху сиделку, с любовью ухаживающую за ним, как за беспомощным младенцем, с самого начала его болезни и до последнего дня его жизни.

...Александра Васильевна безропотно покорялась тяжелому испытанию, до конца исполняя свой долг. Андрей Васильевич скончался в Ялуторовске 27 января 1845 года».

Но и после трагической кончины мужа «невинную» жену декабриста продолжали долгие годы держать в ссылке.

Почти одновременно с Ентальцевой приехала в Читу Елизавета Петровна Нарышкина.

Царедворец и поэт, сердцем сочувствующий изгнанникам, В. А. Жуковский писал из Кургана императрице Александре Федоровне:

«В Кургане я видел Нарышкину (дочь нашего храброго Коновницына) по поручению ее матери. Она глубоко меня тронула своей тихостью и благородной простотой в несчастье. Но она больная и, можно сказать, тает от горя по матери, которую хоть раз еще в жизни желала бы видеть».

Единственная дочь сподвижника Александра I, героя войны, она бросила все, оставила жизнь, где исполнялась любая ее прихоть, ибо Елизавета Петровна была единственной и любимой дочерью. Двадцатитрехлетняя женщина поспешила в Читу, хотя для ее необ-

щительного характера и живого воображения такое путешествие и жизнь на каторге были значительно тяжелее, чем для других.

Для тех, кто мало знал Елизавету Петровну, скорманность ее представлялась гордыней. «Нарышкина, — писала Полина Анненкова, — была не так привлекательна, как Муравьева. Нарышкина казалась очень надменной и с первого взгляда производила неприятное впечатление, даже отталкивала от себя, но зато, когда вы сближались с этой женщиной, невозможно было оторваться от нее, — она приковывала всех к себе безраздельною доброю и необыкновенным благородством характера».

Рассказывают, что, завидев карету жены сквозь частокол читинской тюрьмы, Нарышкин бросился к ней, забыв о кандалах, о частоколе, а Елизавета Петровна, услышав звон его оков, увидев его в путах, потеряла сознание. В Петровске она тяжело болела, и если бы не искусство доктора Вольфа — рядом с могилой ее близкой подруги Муравьевой появилась бы еще одна могила.

Барон Розен описывает свою первую встречу с Нарышкиной так:

«В первый раз увидел я ее на улице, близ нашей работы при Чертовой могиле, — в черном платье, с тальей тонкой в обхват; лицо ее было слегка смуглое, с выразительными умными глазами, головка повелительно поднятая, походка легкая, грациозная».

Сестра двух декабристов — братьев Коновницыных, жена Михаила Александровича Нарышкина, полковника Тарутинского полка, осужденного по четвертому разряду, она, как и ее подруги, не только безропотно сносила все трудности сибирской жизни, но и была верным соратником мужу во всех делах, когда они вышли на поселение.

«Семейство Нарышкиных, — рассказывает об их жизни в Кургане дальний родственник Елизаветы Петровны, декабрист Н. И. Лорер, — было истинными благодетелями целого края. Оба они, муж и жена, помогали бедным, лечили и давали больным лекарства на свои деньги, и зачастую, несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собой священника и ездил подавать последнее христианское угощение умирающим. Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народа. О них говорили: «За что такие люди сосланы в Сибирь?»»

Позже других присоединились к героическим женщинам Александра Ивановна Давыдова, Мария Казимировна Юшневская и Анна Васильевна Розен. Они прибыли в Сибирь в те самые дни, когда мужа их совершали известный пеший переход из Читы в Петровский завод.

Александра Ивановна Давыдова, жена того самого Давыдова, что был владельцем села Каменка, где в годы южной ссылки бывал юный Пушкин. Умный, прямой, храбрейший человек, в прошлом — бравый гусар Василий Львович Давыдов спит вечным сном далеко от благодатной теплой земли, он схоронен в Красноярске за год до возвращения декабристов на родину. Кто из тех — молодых и верящих в свое правое дело, из тех, что разыгрывали Пушкина в Каменке, сперва заговорив о тайном обществе, затем обратив заговор шуткой, кто из них вынес тридцатилетнее изгнание?

Александр Петрович Юшневский был самым близким другом Пестеля. Если к этому прибавить, что он занимал пост генерал-интенданта, можно представить,

как хотелось властям найти в хозяйстве 2-й армии хоть какое-либо, самое пустячное нарушение дел финансовых, ибо тогда можно было бы ослабить Юшневского как уголовного, как вора, а это, в свою очередь, бросило бы тень на автора «Русской правды», и так далее, и так далее... Была назначена самая тщательная, соответственно проинструктированная ревизия, но все ее старания привели лишь к тому, что она вынуждена была отметить: Юшневский — человек предельно честный, и его интендантское служение было казне весьма полезным.

Между тем в Петровске Юшневским пришлось туго: на их и без того небогатое имение был наложен арест, поскольку хозяин имения подозревался в растрате, в присвоении имущества, принадлежащего самодержцу российскому. После каторги Александра Петровича поселили под Иркутском, в деревне Малая Разводная.

Доктор Белоголовый, бывший ученик Юшневского, вспоминает:

«Жена Юшневского, Мария Казимировна, была милостивая, толстенькая старушка небольшого роста; в образование наше она не вмешивалась, но мы ее не особенно любили, потому что она строго заботилась о наших манерах и легко раздражалась всякими нашими промахами. Она полька и ревностная католичка... Мы продолжали ездить к Юшневскому и оставались у него с понедельника до субботы, и не могу, наверное, припомнить, но, кажется, в январе 1844 года нашим занятиям суждено было внезапно прерваться. Случилось, что в это время умер в деревне Оёк (верстах в 30 от Иркутска) поселенный там декабрист Вадковский; Юшневский отправился на похороны товарища и сам там скончался совершенно неожиданно для своих друзей;

во время заупокойной обедни, при выходе с Евангелием, он поклонился в землю, и когда стоявшие подле него товарищи, удивленные, что он долго не поднимается на ноги, решились тронуть его, то он уже был мертв...»

Двенадцать лет засыпала письмами правительственные учреждения несчастная вдова с просьбой вернуться из Сибири. Ответ был один: вас ведь никто не неволил ехать за мужем, живите теперь как знаете. И только по общей амнистии Мария Казимировна вернулась в Россию.

В «Записках» декабриста барона А. Е. Розена есть рассказ о приезде жены его — Анны Васильевны, дочери первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского, воспитателя Пушкина, Пущина, Кюхельбекера, Дельвига...

«Наш отряд имел дневку в Ононском бору, небольшой деревне, где мы помещены были в юртах. На переходах я только обедом кормил свой отряд (на барона возложены были провиантские заботы в походе. — М. С.), а после обеда отправлялся вперед для заготовления к следующему дню. В Ононском бору была дневка, я провел целый день с товарищами, стоял в одной палатке с братьями Бестужевыми и Торсоном; они, как бывшие моряки, приготовили себе и мне по матросской койке из парусины, которую привешивали к четырем вбитым кольям, так что мы не лежали на земле.

После обеда легли отдохнуть, но я не мог уснуть. Юрты наши были поставлены близ большой дороги, ведущей в лес, через мостик над ручьем. Услышав почтовый колокольчик и стук телеги по мостику, выглянул из юрты и увидел даму в зеленом вуале.

В мгновение накинул на себя сюртук и побежал навстречу. Н. А. Бестужев пустился за мною с моим галстуком, но не догнал; впереди пикет часовых бросился остановить меня, но я пробежал стрелою; в нескольких десятках саженой от цепи часовых остановилась тройка, и с телеги я поднял и высадил мою добрую и кроткую, и измученную Аннет. Часовые остановились; в первую минуту я предался безотчетной радости, море было по колено, но куда вести жену? Она едва могла двигаться после такой езды и таких душевных ощущений. К счастью, пришел тотчас плац-адъютант Розенберг, который уведомил, что получил предписание от коменданта поместить меня с женою в крестьянской избе и приставить часового. Вопросы и ответы о сыне и родных длились несколько часов.

Мне надо было отпустить ужин товарищам: жену уговорить зайти к Е. П. Нарышкиной. Лишь только приблизился к юртам, как с восторгом встретили меня; товарищи были счастливы моим счастьем, обнимали меня; Якубович целовал мои руки, Якушкин вскочил в лихорадке, он ожидал свою жену вместе с моею, каждый по-своему изъявлял свое участие. Меня не допустили до кухни, другие справляли мою обязанность. Я хотел угостить жену артельною кашей, но Давыдов предупредил меня, и из своей смоленской крупы на бульоне сварил для нее такую кашу, какой лучший повар вкуснее не сварит... В первые дни жена моя могла пройти со мною не далее версты, а через неделю, когда приблизились к Селенге, она ходила уже по шести и более верст, погода стояла ясная, с десяти до двух часов солнце так грело, что она могла ходить в холстинчатом капоте. Одну ночь привелось ей ночевать в бурятской юрте; там читала она полученные письма от сына и родных, ночлег этот понравился ей

всего более оттого, что прямо над головою виднелось, сквозь отверстие дымовое, звездное небо».

И далее — общая судьба: темная камера Петровской тюрьмы, где Анна Васильевна прожила с мужем целый год, затем переселение в частную квартиру — раньше, пока не завершилось строительство дома, там жила Трубецкая, рождение второго сына, дорога на поселение, буря на Байкале — страшная, опрокидывающая и ломающая суда «сарма», болезнь ребенка и рождение в пути третьего сына, чиновничьи проволочки — все это слилось в одну черную полосу, иногда прорезаемую яркой вспышкой радости — рождение ребенка, его первые шаги, сердечные беседы в длинные зимние вечера с подругами по несчастью, письма из России... Через много лет, в 1861 году, уже пережив поселение в Кургане, затем определение в рядовые на Кавказ, барон Розен напишет в «Записках» проникновенные, полные нежности слова о жене, об их неповторимой любви, вспыхнувшей первым признанием зимой 1824 года, во взаимном влечении и не потускневшей в страшные и прекрасные годы, прожитые в Сибири.

Любовь трагически и дерзновенно соединила еще одну пару: француженку Камиллу Ледантю и декабриста Василия Петровича Ивашева.

Восторженный поэт А. И. Одоевский даже стихи написал в честь этого события:

По дороге столбовой
Колокольчик заливается,
Что не парень удалой
Мягким снегом опускается;

Нет, то ласточка летит
По дороге, красна девица,

Мчатся кони... От копыт
Вьется легкая метелица.

Кроясь в пухе соболей,
Вся душою вдаль уносится,
Из задумчивых очей
Капля слез за каплей просится...

Грустно ей... Родная мать
Тужит тугою сердечною:
Больно душу оторвать
От души разлукой вечною.

Сердце горю суждено,
Сердце надвое не делится:
Разрывается оно..
Дальний путь пред нею стелется.

Но зачем в степную даль
Свет-душа стремится взорами?
Ждет и там ее печаль
За железными затворами.

С другом любо и в тюрьме!
В думе мыслит красна девица:
«Свет он мне в могильной тьме.
Встань, неси меня, метелица!»

Но прежде чем метелица встала и понесла, прежде чем свет-душа девица отправилась в Сибирь, произошли события воистину удивительные.

Обратимся к «Запискам» декабриста Николая Васильевича Басаргина:

«Перед выходом нашим из Читы с другом моим Ивашевым случилось такое событие, которое, видимо, показало над ним благодать провидения. Я, кажется, упомянул прежде, что он, Муханов и Завалишин по собственной просьбе остались в прежнем маленьком каземате. Там было свободнее и покойнее. Я нередко, с разрешения коменданта, бывал у них и просиживал

по несколько часов, другие товарищи также посещали их. В свою очередь, и они ходили к нам... Ивашев, как я замечал, никак не мог привыкнуть к своему настоящему положению и, видимо, тяготился им. Мы часто говорили об этом между собою, и я старался, сколько можно, поддержать его и внушить ему более твердости. Ничто не помогало. Он был грустен, мрачен, задумчив. Раз как-то на работе Муханов отвел меня в сторону, сказал мне, что Ивашев готовится сделать большую глупость, которая может стоить ему жизни, и что он нарочно решился мне сказать об этом, чтобы я, с моей стороны, попробовал отговорить его. Тут он мне объяснил, что он вздумал бежать, и сообщил все, что знал об этом.

Вот в чем состояло дело. Ивашев вошел в сношение с каким-то беглосыльным рабочим, который обещал провести его за китайскую границу. Этот беглый завтра же должен был прийти ночью к тыну их каземата. Тын был уже подпилен, и место для выхода приготовлено. По выходе из острога они должны были отправиться в ближний лес, где, по словам беглого, было уже приготовлено подземельное жилище, в котором они должны были скрываться, покуда не прекратятся поиски, и где находились уже необходимые на это время припасы. Когда же прекратятся поиски, то они предполагали отправиться к китайской границе и там действовать смотря по обстоятельствам. Этот план был так неблагодарен, так нелеп, можно сказать, исполнение его до такой степени невозможно, что я удивился, как мог Ивашев согласиться на него. Не было почти никакого сомнения, что человек, соблазнивший его побегом, имел какие-нибудь другие намерения: или выдать его начальству и тем заслужить себе прощение, или безнаказанно убить его и завладеть находящимися у него деньгами; я же знал, что у него они были: при-

ехавши в Читу, он не объявил коменданту 1000 рублей, которые привез с собою, и сверх того тайным образом получил еще 500 рублей. Об этом он сам мне ска- зывал.

Выслушав Муханова, я сейчас же после работы отпра- вился к Ивашеву, сказал ему, что мне известно его намерение и что я пришел с ним об этом переговорить. Он очень спокойно отвечал мне, что с моей стороны было бы напрасным трудом его отклонить, что он твердо решил исполнить свое намерение и что пото- му только давно мне не сказал о том, что не желал подвергать меня какой-либо ответственности. На все мои убеждения, на все доводы о неосновательности этого предприятия и об опасности, ему угрожающей, он отвечал одно и то же, что уже решил, что далее оставаться в каземате он не в состоянии, что лучше умереть, чем жить таким образом. Одним словом, исто- щив возражения, я не знал, что делать. Время было так коротко, завтрашний день был уже назначен, и осталось одно только средство остановить его — дать знать ко- менданту. Но быть доносчиком на своего товарища, на своего друга — ужасно! Наконец, видя все мои убеждения напрасными, я решительно сказал ему: «Послушай, Ивашев, именем нашей дружбы прошу те- бя отложить исполнение твоего намерения на одну только неделю. В эту неделю обсудим хорошенько твое предприятие, взвесим хладнокровно «за» и «про- тив», и если ты останешься при тех же мыслях, то обещаю тебе не препятствовать». — «А если я не со- глашусь откладывать на неделю?» — возразил он. «Если не согласишься, — воскликнул я с жаром, — ты заставишь меня сделать из любви к тебе то, чем я гнушаюсь, — сейчас попрошу свидания с комендантом и расскажу ему все. Ты знаешь меня довольно, чтобы верить, что я это сделаю именно по убеждению, что

это осталось единственным средством спасения». Муханов меня поддерживал. Наконец Ивашев дал нам слово подождать неделю. Я не опасался, чтобы он нарушил его, тем более что Муханов жил с ним и мог за ним наблюдать.

На третий день после этого разговора я опять отправился к Ивашеву, и мы толковали о его намерении. Я исчислил ему все опасности, все невероятности успеха. Он настаивал на своем, как вдруг входит унтер-офицер и говорит ему, что его требует к себе комендант. Ивашев посмотрел на меня; но, видя мое спокойствие, с чувством сказал мне: «Прости меня, друг Басаргин, в минутном подозрении. Но что б это значило? — прибавил он. — Не понимаю». Я сказал ему, что дождусь его возвращения, и остался с Мухановым.

Ивашев возвратился нескоро. Комендант продержал его часа два, и мы уже не знали, чему приписать его долгое отсутствие. Опасались даже, не открылось ли каким образом нелепое намерение бегства. Наконец приходит Ивашев, расстроенный, и в несвязных словах сообщает нам новость, которая и нас поразила. Комендант присылал за ним для того, чтобы передать ему два письма, одно его матери, а другое матушки будущей жены его, и спросить его, согласен ли он жениться на той девушке, мать которой писала это письмо. Оно адресовано было к матери Ивашева. В нем госпожа Ледантю открывала ей любовь к ее сыну, говорила, что эта любовь была причиной ее опасной болезни, в продолжение которой, думая умереть, она призналась матери в своей к нему привязанности, и что тут же мать дала слово дочери по выздоровлении ее уведомить об этом госпожу Ивашеву и в случае ее согласия и согласия сына позволить дочери ехать в Сибирь для вступления с ним в брак. В этом письме она упоминала

также, что дочь ее ни за что бы не открыла сердечной тайны своей, если бы Ивашев находился в прежнем положении, но что теперь, когда его постигло несчастье и когда она знает, что присутствием своим может облегчить его участь, доставить ему некоторое утешение, то не задумывается нарушить светские приличия — предложить ему свою руку. Мать Ивашева отправила это письмо вместе со своим к графу Бенкендорфу, и тот с разрешения государя предписал коменданту просить самого Ивашева, согласен ли он вступить в брак с девицей Ледантю.

Ивашев просил коменданта повременить ответом до другого дня. Мы долго рассуждали об этом неожиданном для него событии. Девицу Ледантю он очень хорошо знал. Она воспитывалась с его сестрами у них в доме и в то время, когда он бывал в отпусках, очень ему нравилась, но никогда он не помышлял жениться на ней, потому что различие в их общественных положениях не допускало его останавливаться на этой мысли. Теперь же, припоминая некоторые подробности своих с ней сношений, он должен был убедиться в ее к нему сердечном расположении. Вопрос о том, будет ли она счастлива с ним в его теперешнем положении, будет ли он уметь вознаградить ее своей привязанностью за ту жертву, которую она принесет ему, и не станет ли он впоследствии раскаиваться в своем поступке, очень его тревожил. Мы с Мухановым знали его кроткий характер, знали все его прекрасные качества и были уверены, что они будут счастливы, и потому решительно советовали ему согласиться. Наконец он решился принять предложение. Разумеется, после этого решения не было уже и помину о побеге. Я даже не знаю, куда девался его искуситель и как он от него отделался. Не возьми я от него слова подождать неделю, легко могло бы случиться, что эти письма не

застали бы его в Чите и пришли, когда делались бы о нем розыски, следовательно, не только брак его не состоялся, но и сам он, по всем вероятностям, непременно бы погиб тем или другим образом. Так иногда самое ничтожное обстоятельство по воле провидения спасает или губит человека.

Свадьба Ивашева была уже в Петровском заводе».

Они были счастливы. В июле 1836 года Ивашевы вместе с другими узниками покинули Петровский завод — местом поселения им назначен был Туринск, захолустный, смертельно скучный и глухой городок. Через три с половиной года сильная простуда свела Камиллу Петровну в могилу — увы, доктора Вольфа не было рядом. Муж ее не мог прийти в себя, и через год он умер от апоплексического удара.

И осталось на свете трое малолетних сирот с фамилией Ивашевы.

Вот и все истории жен и невест декабристов, отправившихся в Сибирь вслед за героями 1825 года.

И все же хочется рассказать еще об одной: она не была женой участника тайного общества, не была невестой. Но она любила, может быть, безотрадней и горше всех.

Ее звали Варвара Шаховская. Она была княжной, племянницей Александра Николаевича Муравьева, того самого, что был сослан в Верхнеудинск, а затем в Иркутск на должность городничего. История ее человеку нынешнему покажется странной: будучи взаимно связаны высоким и чистым чувством с другом Рылеева — Петром Мухановым, они не могли объединить судьбы свои, ибо брат Варвары Шаховской был женат на сестре Петра Муханова, женитьбу других

брата и сестры церковь считала противоугодной богу.

И все же она приехала в Сибирь, чтобы быть ближе к любимому, чтобы хоть изредка увидеть его, получить весточку из Петровского завода. Постепенно Варвара Шаховская становится важнейшим звеном в тайной переписке декабристов с Россией. Ее начинают подозревать, особенно после доносов некоего Романа Медокса. Сын директора императорского Большого театра, Роман Медокс в ранней юности был изгнан из дома за безнравственность, вступив в службу, обворовал командира своего полка, на деньги эти приобрел форму штабного офицера и отправился на Кавказ набирать ополчение из горцев против Наполеона, получил под это много денег у высоких военных чинов на Кавказе, был разоблачен, просидел 14 лет в Петропавловской крепости и, таким образом, встретился там с декабристами, вошел к ним в доверие и освободился из-под стражи: стал человеком Бенкендорфа, доносил ему на доверившихся авантюристу людей. Вот он-то и появляется в Иркутске, делает вид, что влюблен в Варвару Шаховскую, преследует ее записками, намеками... На самом же деле он перехватывает переписку, фальсифицирует записи и документы, чтобы убедить Бенкендорфа, а через него и царя, что среди декабристов в Сибири зреет новый заговор.

На странице дневника, якобы ненароком выроненной в гостиную у Муравьевых, вздохи, восхищение. Стиль столь возвышен, что можно спутать строки Медокса с лирическими излияниями героев сентиментальных романов:

«8 марта. Какой счастливейший, пресладчайший вечер!

Ничье, ничье перо не в силах выразить моего восхищения. Целых 4 часа, от 7-ми до 11-ти, почти беспре-

рывно смотрел на Вареньку, говорил с Варенькой. Я вне себя; слезы радости на глазах. Благодарю тебя, мой милый, мой прекрасный друг. Я когда-нибудь отважусь упасть к твоим ногам и расцеловать их. Какая непостижимая сила в твоих взорах! Отчего встреча с ними столь чудесно счастьеворна?.. Нет, не буду изъяснять: здесь, на земле, нет слов для райских радостей. Что-то влечет помолиться богу, богу небесному, и Вареньке, богу земному».

Вернувшись домой и помолясь богу, он, однако, принимался за другую работу, и здесь сентиментальные восклидания сменяла жесткая проза:

«Главная комиссионерка, пользующаяся совершенным доверием находящихся в Петровском заводе, есть княжна Варвара Шаховская, и так как я пользуюсь тоже доверенностью преступников и нахожусь с Шаховской в тесной связи, по сим причинам я совершенно знаю всю переписку и употребляемые средства к отправлению оной...»

Далее следуют письма о новом заговоре, написанные якобы декабристами, а на самом деле сфабрикованные самим Медоксом.

Варвару Шаховскую принуждают покинуть Иркутск, она отправляется в Крым, но сердечные муки, волнения, разлука, жуткие дороги длиною в месяц, наконец, перемена климата вскоре убивают ее.

Петр Муханов похоронен в Иркутске. В ограде Знаменского монастыря покоится он почти рядом с могилой Екатерины Ивановны Трубецкой.

Вот и вернулись мы на круги своя.

...Ограда монастыря, щелкают фотоаппаратами туристы, из вечной земли пробивается вечная трава.

Двадцатый век.

Я стою у надгробия Трубецкой и ее детей, думаю о ней, о ее подругах, о тысячах женщин, разделивших участь мужчин в борьбе за дело освобождения народа. И на память мне приходят слова замечательной революционерки Веры Фигнер, сравнившей судьбу жен декабристов и революционную борьбу народоволок и сменивших их большевичек с русским царизмом:

«Жизнь изменилась, ужас перед Сибирью она преодолела другими, еще более жуткими ужасами; да, она повысила требования к личности и женщину наряду с мужчиной повела на эшафот и на расстрел. Но духовная красота остается красотой и в отдаленности времен, и обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия сияет и теперь в немеркнущем блеске прежних дней».

СОДЕРЖАНИЕ

Екатерина Ивановна Трубецкая	7
Мария Николаевна Волконская	37
Александра Григорьевна Муравьева	70
Наталья Дмитриевна Фонвизина	110
Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль)	146
Несчастью верная сестра	186

Сергеев М. Д.

С32 Подвиг любви бескорыстной. Рассказы о женах декабристов. М., «Молодая гвардия», 1975.

208 с. с ил. (Пионер — значит первый.)

Книга о гражданском подвиге женщин, которые отправились вслед за своими мужьями — декабристами в ссылку. В книгу включены отрывки из мемуаров, статей, писем, воспоминаний о декабристах.

9(С)15

С $\frac{70803-191}{078(02)-75}$ 62—75

Марк Давидович Сергеев

ПОДВИГ ЛЮБВИ БЕСКОРЫСТНОЙ

Редактор **Валентина Трусова**

Художник **Юрий Иванов**

Художественный редактор **Леонид Лагута**

Технический редактор **Валентина Мещаненко**

Корректоры: **Т. Песнова, З. Харитонova**

Сдано в набор 10/II 1975 г. Подписано к печати 3/VII 1975 г.
A01337. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 6,5 (усл. 9,1).
Уч.-изд. л. 8,4. Тираж 100 000 экз. Цена 38 коп. Т. П. 1975 г.,
№ 62. Заказ 2537.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес изд-ва
и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

38 коп.



43

ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ